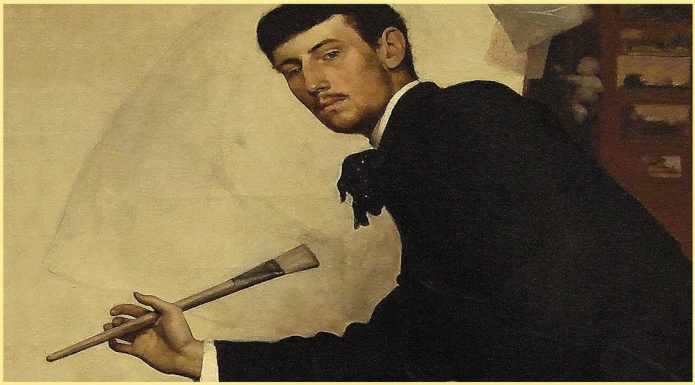

ГЕРМАН ГЕССЕ

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО КЛИНГЗОРА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Последнее лето Клингзора
Герман Гессе

Аннотация
Герман Гессе. Последнее лето Клингзора
Душа ребенка
Клейн и Вагнер
Последнее лето Клингзора

Аннотация

Три повести Германа Гессе – «Душа ребенка», «Клейн и Вагнер», «Последнее лето Клингзора» – впервые были изданы, по настоянию автора, единым сборником еще при его жизни и с тех пор неизменно публикуются вместе.

Но почему сам писатель считал взаимосвязанными столь разные на первый взгляд произведения? Что общего у историй о маленьком мальчике, терзаемом муками совести из-за горстки украденных сладостей, мелком служащем, бежавшем за границу с похищенными у фирмы деньгами, и умирающем великом художнике, который проводит в горах последнее лето в своей жизни?

Секрет этой неочевидной внутренней связи на самом деле прост: герои всех трех повестей Гессе – люди, переживающие кардинальный слом и переоценку собственной системы ценностей.

Герман Гессе
Последнее лето Клингзора

Душа ребенка

Порой мы совершаем какие-то действия, уходим, приходим, поступаем то так, то этак, и все легко, ничем не отягощено и как бы не обязательно, все могло бы, кажется, выйти и по-другому. А порой, в другие часы, по-другому ничего выйти не может, ничего необязательного и легкого нет, и каждый наш вздох определен свыше и отягощен судьбой.

Те дела нашей жизни, которые мы называем добрыми и рассказывать о которых нам бывает легко, почти сплошь принадлежат к этому первому, «легкому» роду, и мы легко о них забываем. Другие дела, говорить о которых нам тяжко, мы никогда не можем забыть, они в какой-то степени больше наши, чем те, и длинные тени их ложатся на все дни нашей жизни.

В наш отцовский дом, большой и светлый дом на светлой улице, ты входил через высокий подъезд, и сразу тебя обдавали сумрак и дыхание сырого камня. Высокая темная прихожая молча принимала тебя, пол из плит красного песчаника вел с легким подъемом к лестнице, начало ко-

торой виднелось в глубине в полумраке. Тысячи раз входил я в этот высокий подъезд и никогда не обращал внимания ни на него, ни на прихожую, ни на плиты пола, ни на лестницу; и все-таки это всегда бывал переход в другой мир, в «наш» мир. Прихожая пахла камнем, она была темная и высокая, лестница в глубине ее вела из темного холода вверх, к свету и светлому уюту. Но всегда сначала были прихожая и суровый сумрак, а в них что-то от отца, что-то от достоинства и власти, что-то от наказания и нечистой совести. Тысячи раз ты проходил эту прихожую со смехом. Но иногда ты входил и сразу оказывался подавлен, чувствовал страх, спешил к освобождающей лестнице.

Когда мне было одиннадцать лет, я как-то пришел из школы домой в один из тех дней, когда судьба подстерегает нас в каждом углу, когда легко может что-нибудь произойти. В такие дни любая душевная неурядица и незадача словно бы отражается в нашем окружении, обезображивая его. Недовольство и страх гнетут наше сердце, и мы, ища и находя вне себя мнимые их причины, видим мир плохо устроенным и всюду натыкаемся на препятствия.

Так было и в тот день. С самого утра меня угнетало — кто знает почему, может быть, из-за

ночных снов — чувство, похожее на нечистую совесть, хотя я ничего особенного не натворил. У отца было утром страдальческое и упрекающее выражение лица, молоко за завтраком было теплое и невкусное. В школе, правда, никаких огорчений на мою долю не выпало, но и там все опять казалось безотрадным, мертвым и удручающим, соединившись в том уже знакомом мне чувстве бессилия и отчаяния, которое говорит нам, что время бесконечно, что мы на годы, навеки останемся маленькими и безответными под гнетом этой дурацкой, противной школы и что вся жизнь бессмысленна и отвратительна.

Досадовал я в тот день и на моего тогдашнего друга. С недавних пор я дружил с Оскаром Вебером, сыном машиниста, не зная толком, что́ тянет меня к нему. Недавно он хвастался тем, что его отец зарабатывает семь марок в день, а я наудачу ответил, что мой — четырнадцать. Он сразу поверил и проникся ко мне уважением; с этого все и началось. Несколько дней спустя мы с Вебером заключили союз, заведя общую копилку, чтобы потом купить пистолет. Пистолет лежал в витрине скобяной лавки, тяжелая штука с двумя синеватыми стальными стволами. И Вебер подсчитал, что если экономить по-настоящему,

то можно будет довольно скоро купить его. Ведь деньги случаются всегда, он часто получает по десяти пфеннигов на карманные расходы, а иногда находишь прямо на улице или деньги, или какие-нибудь ценные вещи, например, подкову, слиток свинца и тому подобное, которые вполне можно продать. Десять пфеннигов он тут же и дал для нашей копилки, и они убедили меня, и весь наш план показался мне осуществимым и многообещающим.

Когда я в тот день входил в нашу переднюю и холодный, как в погребе, воздух смутно напомнил мне тысячи неприятных и ненавистных вещей, какие существуют на свете, мысли мои были заняты Оскаром Вебером. Я чувствовал, что не люблю его, хотя его добродушное лицо, напоминавшее мне одну прачку, было мне симпатично. Привлекали меня не его личные качества, а что-то другое, я бы сказал, его положение — нечто такое, что он разделял почти со всеми мальчиками его типа и происхождения: какое-то дерзкое умение жить, нечувствительность к опасностям и обидам, близкое знакомство с практическими мелочами жизни, с деньгами, лавками и мастерскими, с товарами и ценами, с кухней, стиркой и тому подобным. Такие мальчики, как Вебер,

которым побои в школе, казалось, не причиняли боли, мальчики, состоявшие в родстве и дружившие со слугами, извозчиками и фабричными девицами, — они занимали в мире другое, более твердое положение, чем я; они были как бы взрослее, они знали, сколько зарабатывает в день их отец, и знали, несомненно, еще многое, в чем я был несведуш. Они смеялись над выражениями и шутками, которых я не понимал. Они вообще умели смеяться так, как мне не было дано, на какой-то грязный и грубый, но бесспорно взрослый и мужской лад. Что из того, что ты был умнее их и знал в школе больше! Что из того, что ты был лучше одет, умыт и причесан! Напротив, именно эти различия шли им на пользу. В мир, видевшийся мне в каком-то сумеречном и авантюрном свете, такие мальчики, как Вебер, могли войти, казалось, без всяких трудностей, а для меня мир был совершенно закрыт и каждую дверь в него надо было брать с бою, без конца взрослея, отсиживая уроки, держа экзамены и воспитываясь. Естественно, что такие мальчики находили на улице подковы, деньги, получали плату за услуги, поживлялись в лавках на даровщинку и всячески процветали.

Я смутно чувствовал, что моя дружба с Вебером

и его копилкой была не чем иным, как тоской по этому миру. В Вебере для меня не было ничего достойного любви, кроме его великой тайны, благодаря которой он был ближе, чем я, к взрослым, жил в неприкрытом, более голом, более грубом мире, чем я со своими мечтаньями и желаньями. И я наперед чувствовал, что он разочарует меня, что мне не удастся вырвать у него его тайну, его магический ключ к жизни.

Он только что простился со мной, и я знал, что сейчас он идет домой вольготным, неторопливым шагом, посвистывая и наслаждаясь, не омраченный никакой тоской, никакими предчувствиями. Когда он встречал служанок и фабричных и наблюдал их загадочную, может быть, чудесную, а может быть, преступную жизнь, для него она не была загадкой, страшной тайной, опасностью, чем-то диким и любопытным, а была такой же естественной, знакомой и родной, как утке вода. Вот как обстояло дело. А я — я всегда буду сбоку припека, в одиночестве и неопределенности, полон догадок, но лишен уверенности.

Вообще в этот день жизнь снова была безнадежно безвкусна, сам день чем-то походил на понедельник, хотя была суббота, от него пахло понедельником, который втрое длиннее и втрое

скучнее других дней. Проклятой и противной была эта жизнь, она была лжива и тошнотворна. Взрослые делали вид, будто мир совершенен и они сами — полубоги, а мы, мальчики, просто отребье. Эти учителя!.. Ты чувствовал в себе честолюбивые порывы, ты искренне, всей душой устремлялся к добру, пытаясь ли выучить греческие неправильные глаголы или содержать в чистоте одежду, слушаться родителей или молча, героически сносить любую боль и обиду, — да, снова и снова, пылко и благочестиво ты поднимался, чтобы посвятить себя Богу, идти идеальной, чистой, благородной стезей к вершине, жить в добродетели, безропотно сносить зло, помогать другим — увы, снова и снова это оставалось попыткой, стремленьем, коротким вспархиваньем! Снова и снова, уже через несколько дней, о, даже через несколько часов, случалось что-нибудь, чему не следовало быть, что-нибудь скверное, огорчительное и постыдное. Снова и снова ты вдруг непременно падал с высоты самых упорных и благородных намерений и обетов назад, в грех и подлость, в обыденность и пошлость! Почему ты в душе так хорошо и глубоко понимал и чувствовал красоту и правильность добрых порывов, если вся жизнь

(в том числе и взрослые) неизменно воняла пошлостью и неукоснительно вела к тому, чтобы торжествовали низость и подлость? Как это получалось, что утром в постели или ночью перед зажженными свечами ты связывал себя священной клятвой с добрым и светлым, призывал Бога и объявлял вечную войну всяким порокам, а потом, может быть всего через несколько часов, самым жалким образом отступался от этого намеренья и обета, пускай лишь подхватив чей-нибудь соблазнительный смех или согласившись выслушать какой-нибудь глупый мальчишеский анекдот? Почему так? Неужели у других было по-другому? Неужели герои, римляне и греки, рыцари, первые христиане — неужели все они были другими людьми, чем я, лучше, совершеннее, без дурных желаний, наделенными каким-то органом, которого у меня не имелось и который не позволял им снова и снова падать с небес в обыденность, с величественных высот в болото низменного и жалкого? Неужели этим героям и святым был неведом первородный грех? Неужели все святое и благородное было уделом только немногих, только редких избранников? Но почему, если я, значит, не был избранником, мне все-таки были присущи это стремленье к прекрасному и

благородному, эта неистовая, надрывная тоска по чистоте, по доброте, по добродетели? Разве это не насмешка? Неужели так заведено в Божьем мире, чтобы человек, мальчик, носил в себе одновременно все высокие и все злые стремленья, чтобы он, существо несчастное и смешное, страдал и отчаивался на потеху взирающему на него Богу? Неужели так заведено? Но тогда — разве тогда весь мир не дьявольщина, только того и заслуживающая, чтобы на нее наплевать?! Разве тогда Бог не изверг, не безумец, не глупый, гадкий фигляр?.. Ах, и в те самые мгновенья, когда я не без сладострастья предавался этим мятежным мыслям, робкое мое сердце уже трепетало, наказывая меня за богохульство!

Как отчетливо через тридцать лет вижу я снова перед собой ту лестничную клетку — с высокими подслеповатыми окнами, выходившими на близкую стену соседнего дома и дававшими очень немного света, с добела выскобленными еловыми лестницами и площадками, с гладкими перилами твердого дерева, до блеска отполированными оттого, что я тысячи раз опрометью по ним съезжал! Как ни далеко от меня детство, как ни кажется оно мне в целом непонятным и сказочным, я и поныне прекрасно помню

все страданье и весь разлад, которые жили во мне уже тогда, среди счастья. Все эти чувства были уже тогда в сердце ребенка тем, чем они оставались всегда: сомнением в собственной полноценности, колебанием между самомнением и малодушием, между презирающим мир идеализмом и обыкновенной чувственностью, — и так же, как тогда, я сотни раз и позднее видел в этих чертах моей натуры то позорную болезнь, то почетное отличие, и я верю порой, что этим мучительным путем Бог хочет привести меня к особому одиночеству и глубине, а порой не вижу во всем этом ничего, кроме свидетельства жалкой слабохарактерности, невроза, от которых тысячи людей страдают всю жизнь.

Если бы мне надо было свести все это мучительное противоборство чувств к какому-то главному ощущению и определить его каким-то одним названием, то я не нашел бы другого слова, как «страх». Страх, страх и неуверенность — вот что испытывал я во все эти часы отравленного детского счастья: страх перед наказанием, страх перед собственной совестью, страх перед движениями моей души, на мой тогдашний взгляд, запретными и преступными.

В час, о котором я повествую, это чувство страха

вновь охватило меня, когда я по все более светлевшей лестнице приближался к стеклянной двери. Оно начиналось с теснения в животе, которое поднималось к горлу и там переходило в удушье или тошноту. Одновременно в такие минуты, и на этот раз тоже, я чувствовал ужасное смущение, недоверие к любому, кто мог бы меня увидеть, потребность уединиться и спрятаться.

С этим неприятным и мерзким ощущением, с ощущением, что я настоящий преступник, и вошел я в коридор и гостиную. Я чувствовал: сегодня добра не жди, что-то случится. Я чувствовал это, как чувствует барометр изменившееся атмосферное давление, с безысходной пассивностью. Ах, вот оно снова, это невыразимое! Бес прокрался в дом, первородный грех щемил сердце, невидимым исполином таился за каждой стеной некий дух, некий отец и судья.

Я еще ничего не знал, все было еще только догадкой, предчувствием, щемящей неловкостью. В таком состоянии лучше всего бывало заболеть, да еще чтобы тебя вырвало, и улечься в постель. Тогда иной раз все обходилось благополучно, появлялась мать или сестра, тебя поили чаем, ты чувствовал любовь и заботу и мог поплакать или уснуть, а потом проснуться здоровым и бодрым

в совершенно изменившемся, освобожденном и светлом мире.

В гостиной матери не было, а на кухне была только прислуга. Я решил подняться к отцу, в чей кабинет вела узкая лестница. Хотя я и боялся его, иногда было все-таки хорошо обратиться к нему, перед кем я столько раз бывал виноват. Найти утешение у матери было проще и легче; но отцовское утешение было ценнее, оно означало мир с судящей совестью, примирение и новый союз с добрыми силами. После неприятных разговоров, расследований, признаний и наказаний я часто выходил из отцовской комнаты добрым и чистым, правда наказанным и отчитанным, но полным новых намерений, набравшись у могучего союзника сил для борьбы со злом. Я решил сходить к отцу и сказать ему, что мне плохо.

И я поднялся по лестничке, которая вела в кабинет. Эта лестничка со своим особым запахом обоев и сухим звуком пустотелых легких деревянных ступеней была существенным рубежом, вратами судьбы в куда большей мере, чем прихожая; по этим ступеням был мною проделан не один важный путь, я сотни раз поднимался по ним, таща в себе страх и угрызения совести, упрямство и дикую злость, и нередко уносил с

собой на обратном пути освобождение и новую твердость. Низ нашего дома был во владении матери и детей, там дышалось вольготно; здесь наверху обитали власть и ум, здесь были суд, и храм, и «отцовское царство».

Не без робости, как всегда, нажал я на старомодную ручку и приотворил дверь. Отцовский кабинет встретил меня знакомым запахом; его создавали дыхание книг и чернил, разбавленное голубым воздухом из полуоткрытых окон, белые, чистые занавески, чуть слышное дуновение одеколона и обычное на письменном столе яблоко… Но комната была пуста.

Я вошел с чувством полуразочарования-полуоблегчения. Стараясь приглушить свои шаги, я пошел на цыпочках, как нам здесь наверху надлежало ходить, когда отец спал или у него болела голова. И как только эта тихая ходьба дошла до моего сознания, у меня застучало сердце, и я с новой силой почувствовал тревожное теснение в животе и в горле. Крадучись и со страхом я шел дальше, за шагом шаг, и вот уже я был не просто пришельцем или просителем, а незваным, самовольно вторгшимся гостем. Не раз уже я тайком пробирался в отсутствие отца в обе его комнаты, не раз уже осматривал и обследовал тайное его

царство, а дважды и кое-что похищал там.

Воспоминания об этом тут же захватили меня, и я сразу понял: теперь быть беде, теперь что-то случится, теперь я сделаю что-то запретное и дурное. О бегстве и мысли не было! Вернее, я думал, страстно и лихорадочно думал о том, чтобы убежать, побежать вниз по лестнице и в свою каморку или в сад, но я знал, что не сделаю этого, не смогу сделать. Я от всей души хотел, чтобы отец зашевелился в соседней комнате, чтобы он вошел сюда и разрушил это ужасное, бесовской силой завлекавшее меня колдовство. О, если бы он вошел! Если бы он вошел, пускай выругал бы, лишь бы вошел, пока не поздно!

Я кашлянул, чтобы выдать свое присутствие, и, не получив ответа, тихонько позвал: «Папа!» Все было тихо, у стен молчали стройные ряды книг, створка окна двигалась на ветру, и от этого по полу шмыгал зайчик. Никто не освободил меня, а во мне самом не было свободы поступить не так, как того хотел бес. От ощущения, что я преступник, у меня сжался желудок и похолодели кончики пальцев, сердце мое трепыхалось. Я еще совершенно не знал, что́ я сделаю. Знал только, что нечто скверное.

Подойдя к письменному столу, я взял в руки

какую-то книгу и прочел ее английское заглавие, которого не понял. Английский я терпеть не мог — на этом языке отец всегда говорил с матерью, когда хотел, чтобы мы не поняли их, или когда они спорили. В чашке лежали всякие мелочи: зубочистки, стальные перья, булавки. Я взял два перышка и сунул их в карман. Бог знает зачем, они не были мне нужны, перьев у меня хватало. Я сделал это только под нажимом душившей меня силы, которая велела мне сделать что-то дурное, повредить самому себе, взвалить на себя вину. Я порылся в отцовских бумагах, увидел начатое письмо, прочел слова: «У нас и у детей все благополучно», — и латинские буквы его почерка взглянули на меня, как глаза.

Затем я тихонько прокрался в спальню. Там стояла железная походная кровать отца, под нею — его коричневые домашние туфли, на тумбочке лежал носовой платок. Я вдыхал в этой светлой, прохладной комнате отцовский воздух, и передо мною отчетливо вставал образ отца, благоговение и бунт спорили в моем налитом тяжестью сердце. Мгновеньями я ненавидел его, со злорадством вспоминая, как он в дни, когда у него болела голова, пластом, бывало, лежал на своей низкой походной кровати, вытянувшись

во всю свою длину, с мокрым платком на лбу, иногда постанывая. Я, видно, догадывался, что и ему, могучему, жилось нелегко, что и он, всеми почитаемый, знал сомненья в себе и страх. И тут же моя странная ненависть улетучивалась, ее сменяли сочувствие и растроганность. Однако тем временем я успел выдвинуть ящик комода. Там лежали стопки белья и флакон его любимого одеколона; я хотел понюхать его, но непочатый флакон был плотно закупорен, и я положил его на место. Рядом с ним я нашел коробочку с пастилками, отдававшими лакрицей, и несколько пастилок сунул себе в рот. Я несколько разочаровался и отрезвел, но в то же время был рад, что больше ничего не нашел и не взял.

Уже остыв и образумившись, я из озорства все-таки потянул еще один ящик — с чувством некоторого облегчения и с намерением положить на место оба украденных перышка. Наверно, можно было пойти на попятный, раскаяться, загладить свою вину и спастись. Наверно, Божья рука надо мной была сильнее всякого искушения…

Тут я напоследок стрельнул взглядом в щель чуть выдвинутого ящика. Ах, если бы там были носки, или рубахи, или старые газеты! Но тут-то

оно и пришло, искушение, и едва отпустивший меня судорожный страх молниеносно вернулся, руки у меня задрожали, сердце заколотилось. В плетеной лубяной шкатулке, индийской или еще какой-нибудь экзотической, я увидел нечто поразительно-соблазнительное — целую связку винных ягод в белой сахарной пудре!

Я взял ее в руку, она оказалась замечательно тяжелой. Затем я вытащил две-три инжирины, сунул одну в рот, остальное в карман. Теперь весь этот страх и вся эта авантюра оказались не напрасны. Если уж получить здесь освобожденье и утешенье не суждено было, то я решил уйти отсюда по крайней мере не с пустыми руками. Я снял еще три-четыре смоквы с кольца, которое не стало от этого легче, и еще несколько, и когда мои карманы наполнились, а из связки, пожалуй, больше половины винных ягод исчезло, я попросторнее распределил по липкому кольцу оставшиеся инжирины, чтобы показалось, что недостает меньше. Затем, внезапно перепугавшись, я резко захлопнул ящик и побежал, побежал через обе комнаты и вниз по лестничке, в свою клетушку, где, задыхаясь, остановился и с подкашивающимися ногами оперся на маленькую конторку.

Вскоре зазвонили к обеду. С пустой головой, с чувством полного отрезвления и омерзения я запихал винные ягоды на свою книжную полку, спрятал их за книгами и пошел обедать. Перед дверью столовой я заметил, что у меня липкие руки. Я вымыл их в кухне. В столовой все уже сидели в ожидании. Я быстро поздоровался, отец произнес молитву, и я склонился над супом. Есть не хотелось, каждый глоток давался мне с трудом. А рядом со мной сидели сестры, а напротив — родители, все в самом светлом расположении духа, без задних мыслей, лишь я, преступник, томился среди них, одинокий и жалкий, боясь каждого приветливого взгляда и еще чувствуя во рту вкус винных ягод. Затворил ли я там, наверху, дверь спальни? А ящик?

Вот и стряслась беда. Я дал бы отрубить себе руку ради того, чтобы мои винные ягоды оказались снова в комоде. Я решил выбросить их или взять в школу и раздарить. Только бы избавиться от них, только бы никогда больше их не видеть!

— Ты плохо сегодня выглядишь, — сказал отец через стол.

Я смотрел в тарелку и чувствовал его взгляд на своем лице. Сейчас он заметит. Ведь он всегда все замечал. Зачем он еще мучит меня сначала? Луч-

ше бы сразу увел меня и, пожалуй, даже убил.

— Тебе нездоровится? — услышал я снова его голос. Я соврал, сказав, что у меня болит голова. — Полежи немного после обеда, — сказал он. — Сколько еще уроков у вас сегодня?

— Только гимнастика.

— Ну, гимнастика тебе не повредит. Но заставь себя хоть немножко поесть! Скоро пройдет.

Я искоса посмотрел на него. Мать ничего не сказала, но я знал, что она глядит на меня. Я доел суп, повоевал с мясом и овощами, дважды налил себе воды. Ничего больше не случилось. Меня оставили в покое. Когда под конец отец произносил благодарственную молитву: «Благодарим Тебя, Господи, ибо Ты милостив и доброта Твоя вечна», — жгучая, как резаная рана, черта снова отделила меня от этих светлых, священных, исполненных доверия слов и ото всех, кто сидел за столом; мои сложенные руки были ложью, моя молитвенная поза — кощунством.

Когда я встал, мать погладила меня по голове и приложила ладонь к моему лбу, проверяя, нет ли у меня жара. Как все это было горько!

В своей каморке я остановился у книжной полки. Утро не обмануло, все приметы подтвердились. День выдался несчастный, хуже у меня

еще не было. Худшего никто бы и не вынес. Случись что-либо похуже, осталось бы покончить с собой. Пришлось бы принять яд, это лучше всего, или повеситься. Умереть вообще было лучше, чем жить. Ведь все было так неправильно, так безобразно. Я стоял в задумчивости, рассеянно хватая спрятанные винные ягоды и машинально отправляя в рот одну за другой.

На глаза мне попалась наша копилка, она стояла на полке под книгами. Это была коробка из-под сигар, которую я крепко заколотил гвоздями; в крышке я прорезал перочинным ножом малоизящную щель для монет. Прорезана она была, эта щель, неловко и неряшливо, со множеством заусениц. Даже это у меня не получилось как следует. У меня были товарищи, делавшие такие вещи усердно, терпеливо и безупречно, наводя лоск не хуже заправского столяра. А я всегда был небрежен, торопился и ничего по-настоящему не доводил до конца. Так было с моими поделками из дерева, с моим почерком, с моими рисунками, с моими коллекциями бабочек, со всем. Я ни на что не годился. И вот я опять украл, хуже, чем когда-либо. И перья были у меня в кармане. Зачем? Зачем я их взял — зачем надо было их брать? Зачем надо делать то, чего вовсе не хочешь?

В коробке дребезжала единственная монета, десять пфеннигов Оскара Вебера. С тех пор ничего не прибавилось. Эта история с копилкой тоже была моей затеей! Ничего не выходило, ничего не ладилось, все стопорилось в самом начале, за что б я ни брался! Черт бы взял эту дурацкую копилку! Я знать о ней больше не хотел.

В такие дни, как сегодня, это время между обедом и школой всегда было тягостно и томительно. В хорошие дни, в мирные, разумные, милые дни это был прекрасный и желанный час; я либо читал у себя в комнате про индейцев, либо сразу после еды отправлялся обратно на школьную площадку, где всегда заставал каких-нибудь предприимчивых однокашников, и там мы играли, кричали, бегали, резвились, пока звонок не возвращал нас к начисто забытой «действительности». Но в такие дни, как сегодня… С кем тут станешь играть и как утихомиришь бесов в своей душе? Я чувствовал, что дело идет к тому: не сегодня, так в следующий раз, может быть скоро, моя судьба разразится окончательным взрывом. Ведь достаточно еще одной капли, еще одной капельки страха, страдания и растерянности, и чаша переполнится, и кончится ужас. Когда-нибудь, как раз в такой же день, как сегодня, я вконец

погрязну в трясине зла и в строптивой ярости от невыносимой бессмыслицы этой жизни совершу нечто ужасное и решительное, нечто ужасное, но сулящее свободу и способное навсегда положить конец мученьям и страхам. Неизвестно было, во что это выльется; но фантастические, но навязчивые прообразы этого уже не раз кружили мне голову, картины преступлений, которыми я отомщу миру и в то же время загублю, уничтожу себя. Иногда мне чудилось, что я поджигаю наш дом: крылья огромного пламени бились в ночи, огонь охватывал дома и улицы, весь город вздымал исполинское зарево к черному небу. А в другие разы моим воображаемым преступлением бывала месть отцу, жестокое, зверское убийство. И тогда бы я вел себя как тот преступник, тот единственный, настоящий преступник, которого однажды вели по улицам нашего города у меня на глазах. Это был пойманный взломщик, его вели в участковый суд два жандарма, один спереди, другой сзади, он шел в наручниках и котелке набекрень. Этот человек, которого гнали через город, сквозь толпы любопытных, сквозь тысячи проклятий, злых шуток и злобных выкриков, этот человек нисколько не походил на тех робких горемык, которых иногда видели на улице в сопровождении

полицейского чина и которые были чаще всего просто бедными подмастерьями, задержанными за то, что просили милостыню. Нет, этот не был застенчивым подмастерьем, в нем не было ни простодушия, ни робости, ни плаксивости, он не прятался за смущенно-глуповатой улыбкой, какую мне тоже случалось видеть. Это был настоящий преступник, чуть помятая шляпа лихо сидела на его упрямо поднятой голове, он был бледен и улыбался с молчаливым презрением, и народ, осыпавший его плевками и бранью, делался рядом с ним сбродом и чернью. Я сам тогда кричал с другими: «Попался, повесить его!» Но потом я увидел его гордую, прямую походку, увидел, как он нес перед собой руки в наручниках, и как лихо, словно какая-то фантастическая корона, сидел котелок на его упорной, злой голове, и как он улыбался! — и я умолк. И я вот так же улыбался бы, как этот преступник, вот так же твердо держал бы голову, когда меня вели бы на суд и на эшафот, и если бы люди толпились вокруг меня и громко надо мной издевались, я не сказал бы в ответ ни слова, я просто молчал бы и презирал.

И когда меня казнят, когда я буду мертв и предстану перед вечным судьей, я тоже не склонюсь и не покорюсь. О нет, хотя бы он и был окружен

всей ратью небесной, хотя бы так и сиял святостью и величием! Пускай он проклянет меня, пускай велит бросить в кипящую смолу — я не извинюсь, не унижусь, не попрошу у него прощения, ни в чем не раскаюсь! Если он спросит меня: «Ты сделал то-то и то-то?» — я воскликну: «Да, сделал, и еще не то, и хорошо, что сделал, и если смогу, сделаю это снова и снова. Я убивал, я поджигал дома, потому что это доставляло мне удовольствие и потому что я хотел поиздеваться над тобой и тебя позлить. Да, ибо я ненавижу тебя, я плюю тебе под ноги, Бог. Ты мучил меня и терзал, ты дал законы, которых никто не в силах соблюдать, ты подговорил взрослых отравить жизнь нам, детям».

Когда мне выпало счастье представить себе это совершенно отчетливо и твердо поверить, что мне удастся действовать и говорить именно так, у меня бывали минуты мрачной радости. Но сразу же возвращались сомнения. Не окажусь ли я слаб, не дам ли себя запугать, не уступлю ли в конце концов? Или даже если я все сделаю так, как мне упрямо хотелось, не изыщет ли Бог какого-то выхода, какого-то преимущества, какой-то хитрости? — ведь всемогущим взрослым всегда удавалось пустить в ход под конец какой-

нибудь козырь, так или иначе посрамить тебя, не посчитаться с тобой, унизить тебя под мерзкой маской доброжелательности! Ну конечно, тем и кончилось бы.

Мое воображение металось в разные стороны, делая победителем то меня, то Бога, то вознося меня на высоту несгибаемого преступника, то снова повергая в ничтожество ребенка и слизняка.

Я стоял у окна и смотрел на задний дворик соседнего дома, где к стене были прислонены стойки лесов, а в крошечном огородике зеленело несколько грядок. Вдруг я услышал среди тишины полдня бой часов, твердо и трезво вторгшийся в мои видения, один ясный, строгий удар и еще один. Было два часа, и я испуганно вернулся от воображаемых ужасов к ужасной действительности. У нас начинался сейчас урок гимнастики, и даже полети я в гимнастический зал на волшебных крыльях, я все равно опоздал бы. Опять незадача! Послезавтра меня вызвали бы, выругали и наказали. Лучше уж было вообще не идти в школу, ведь поправить уже ничего нельзя было. Разве что каким-нибудь очень уж хорошим, очень уж тонким и правдоподобным оправданием, но в этот миг мне все равно ничего такого в голову не пришло бы, как ни блестяще

обучили меня лгать наши учителя, сейчас я был просто не в состоянии лгать, сочинять, придумывать. Лучше было вообще пропустить урок. Какая разница, если к большому несчастью прибавится маленькое!

Но бой часов разбудил меня и парализовал мое воображение. Я вдруг очень ослабел, до невозможности реально глядели на меня моя комната, конторка, картинки, кровать, книги, все было насыщено суровой реальностью, все было призывным окликом из того мира, в котором приходилось жить и который сегодня опять стал таким враждебным и таким опасным. Еще бы! Разве я не прогулял урок гимнастики? И разве не совершил воровство, жалкое воровство, разве не лежали на полке эти проклятые винные ягоды, которые я не успел съесть? Какое мне сейчас было дело до того преступника, до Господа Бога и до Страшного суда! Это все еще придет, придет в свое время — но сейчас, сию минуту, это было где-то далеко, было глупостью и больше ничем. Я украл, и в любую минуту это преступление могло открыться. Возможно, оно уже открылось, возможно, отец уже полез в тот ящик, обнаружил мой подлый поступок и, оскорбленный, разгневанный, размышлял сейчас, как лучше

призвать меня к ответу. Да, может быть, он уже направляется ко мне, и если я сейчас же не убегу, то через минуту увижу перед собой его строгое лицо и очки. Ведь он сразу поймет, что вор — я. Кроме меня, в нашем доме преступников не было, мои сестры никогда ничего подобного не делали, бог весть почему. Но зачем понадобилось отцу прятать у себя в комоде связки винных ягод?

Я уже вышел из своей каморки и ушел из дому через заднюю дверь в сад. Сады и луга были залиты ярким солнцем, над дорогой кружились бабочки-лимонницы. Все казалось теперь более скверным, чем утром. О, это мне было уже знакомо, и все-таки никогда, право, я не ощущал этого столь мучительно: город и колокольня, луга и дорога, цветы в траве и бабочки — все, глядя на меня, дышало естественностью и чистой совестью, все красивое и веселое, на что обычно глядишь с радостью, стало сейчас околдованным и чужим! Это мне было знакомо, я уже знал, каково это — шагать по привычным местам, когда тебя мучит совесть! Пролети сейчас над лугом и сядь у моих ног редчайшая бабочка, это ничего не значило бы, не обрадовало бы, не взволновало, не утешило. Протяни мне сейчас свою самую роскошную ветку прекраснейшее вишневое дерево,

это не имело бы ни малейшей цены, счастья в этом не было бы. Сейчас существовало одно — бежать, бежать от отца, от наказания, от самого себя, от своей совести, бежать без передышки и до тех пор, пока все равно, неумолимо и неминуемо, не свершится то, что свершиться должно.

Я бежал без передышки, бежал в гору до самого леса, а с Дубовой горы вниз к Княжеской мельнице, затем через мостик и снова в гору и лесом. Здесь был наш последний индейский лагерь. Здесь в прошлом году, когда отец был в отъезде, мать праздновала с нами, детьми, Пасху и прятала для нас яйца во мху. Здесь я однажды в каникулы построил со своими двоюродными братьями крепость, она еще сохранилась наполовину. Везде остатки других дней, везде зеркала, из которых на меня глядел не тот, кем я был сегодня! Неужели это был я? Такой веселый, такой довольный, такой благодарный, такой общительный, такой нежный с матерью, такой свободный от страхов, такой непонятно счастливый? Я ли это был? И как мог я стать таким, как сейчас, настолько другим, совершенно другим, таким злым, таким испуганным, таким несчастным? Все было обычным: лес и река, папоротники и цветы, крепость и муравейник, — и, однако же, все было

как бы отравлено и разорено. Неужели нет никакого пути назад, туда, где остались невинность и счастье? Неужели никогда больше не будет так, как было? Суждено ли мне когда-нибудь снова смеяться, как прежде, играть с сестрами, искать пасхальные яйца?

Я бежал и бежал, на лбу у меня выступил пот, а за мной бежала моя вина, бежала, преследуя меня, тень отца, огромная и чудовищная.

Мимо меня пробегали аллеи, спускались лесные опушки. На каком-то холме я остановился, в стороне от дороги, и бросился в траву с сильным сердцебиеньем — оно было вызвано, вероятно, тем, что я бежал в гору, и я полагал, что оно скоро пройдет. Внизу я видел город и реку, видел гимнастический зал, где сейчас кончался урок и мальчики разбегались, видел длинную крышу отцовского дома. Там была спальня отца, был ящик, откуда исчезли винные ягоды. Там была моя комнатка. Там, когда я вернусь, меня настигнет кара. А если я не вернусь?

Я знал, что вернусь. Всегда возвращаешься, каждый раз. Кончается всегда этим. Нельзя уйти, нельзя удрать в Африку или в Берлин. Ты мал, у тебя нет денег, тебе никто не поможет. Вот если бы все дети соединились и помогали друг другу!

Их много, детей на свете больше, чем родителей. Но не все дети воры и преступники. Таких, как я, мало. Может быть, я единственный в своем роде. Но нет, я знал, такие вещи, как у меня, случаются часто — один мой дядя в детстве тоже что-то украл и натворил бед, это я как-то узнал, тайком, подслушав разговор родителей, тайком, как приходится узнавать все интересное. Но все это мне не поможет, и даже окажись здесь сам этот дядя, он тоже мне не помог бы! Он теперь давно уже большой и взрослый, он пастор, и он будет на стороне взрослых, а от меня отступится. Все они такие. Перед нами, детьми, они все в чем-то неискренни и лживы, играют какую-то роль, притворяются иными, чем они есть. Мать, может быть, нет или меньше.

А если бы я не вернулся домой? Ведь могло же что-нибудь случиться, я мог ведь сломать шею, или утонуть, или попасть под поезд. Тогда все выглядело бы иначе. Тогда меня доставили бы домой, и все бы испуганно притихли, и плакали бы, и жалели меня, и о винных ягодах не было бы и речи.

Я прекрасно знал, что можно самому лишить себя жизни. Я и думал, что когда-нибудь, наверно, сделаю это, позднее, если станет совсем уж

скверно. Хорошо бы заболеть, но не каким-то там кашлем, а по-настоящему, смертельно, заболеть так, как тогда, когда у меня была скарлатина.

Тем временем урок гимнастики давно прошел и прошло время, когда меня дома ждали к кофе. Может быть, они сейчас звали и искали меня — в моей комнате, в саду, во дворе, на чердаке. Но если отец уже обнаружил пропажу, тогда меня не искали, тогда он знал, в чем дело.

Лежать дольше было невмоготу. Судьба не забывала меня, она гналась за мною. Я побежал опять. В парке я пробежал мимо скамейки, с которой тоже было связано некое воспоминание, еще одно, некогда прекрасное и дорогое, а сейчас обжегшее как огонь. Отец подарил мне перочинный нож, мы вместе, весело и дружно, гуляли, и он сел на эту скамью, а я пошел в орешник вырезать себе палку. И тут я в пылу радости загубил новый ножик, сломав лезвие у самого черенка; я в ужасе вернулся, собираясь скрыть это, но отец сразу же спросил меня, цел ли подарок. Я был очень несчастен, и из-за ножика, и потому, что ждал нагоняя. Но отец только улыбнулся, потрепал меня по плечу и сказал: «Бедняга, какая жалость!» До чего же я любил его тогда, сколько раз мысленно просил у него прощения! И сейчас,

стоило мне только вспомнить тогдашнее лицо отца, его голос, его сочувствие… Какой же я был мерзавец, если столько раз огорчал и обманывал, а сегодня и обокрал такого отца!

Когда я снова вошел в город, у верхнего моста, недалеко от нашего дома, уже стало смеркаться. Из какой-то лавки, за стеклянной дверью которой уже горел свет, выбежал мальчик и, внезапно остановившись, окликнул меня по имени. Это был Оскар Вебер. Нельзя было появиться более некстати. Однако я узнал от него, что учитель не заметил моего отсутствия на уроке гимнастики. Но где же я был?

— Да нигде, — сказал я, — мне нездоровилось.

Я был молчалив и уклончив, и через некоторое время, показавшееся мне возмутительно долгим, Вебер заметил, что он мне в тягость. Тут он разозлился.

— Оставь меня в покое, — сказал я холодно, — я и один дойду.

— Вот как? — воскликнул он. — Я дойду один не хуже твоего, дурачина! Я тебе не шавка, имей в виду. Но прежде я хочу выяснить, как обстоит дело с нашей копилкой. Я внес десять пфеннигов, а ты ничего.

— Можешь получить назад свои десять пфен-

нигов хоть сегодня, если ты боишься за них. Только не мозоль мне глаза. Больно нужны мне твои подачки.

— А эту принял за милую душу, — сказал он с издевкой, но оставляя все же лазейку для примирения.

Я, однако, рассвирепел, вся моя растерянность, все накопившиеся во мне страхи разрядились дикой злостью. Вебер не смел мне указывать! Перед ним я был прав, перед ним совесть моя была чиста. А мне нужен был кто-то, перед кем я по праву мог высоко держать голову. Все, что мрачно бурлило во мне, хлынуло в эту отдушину. Я сделал то, чего всегда тщательно избегал: я напустил на себя вид барчука, давая понять, что для меня небольшая потеря — отказаться от дружбы с каким-то уличным мальчишкой. Я сказал, что больше ему не есть ягод в нашем саду и не играть моими игрушками. Я почувствовал, что вспыхиваю и оживаю: у меня появился враг, противник, кто-то, кто был виноват, кого можно было схватить за руку. Все мои порывы вылились в эту спасительную, желанную, освобождающую ярость, в жестокую радость оттого, что у меня нашелся враг, который на сей раз был не во мне самом, а стоял напротив и глядел на меня сперва

испуганными, потом злыми глазами, враг, чей голос я слышал, на чьи упреки я мог наплевать, на чью брань мог ответить бранью похлеще.

Все задиристей переругиваясь, мы совсем рядом шагали вниз по темнеющей улице; кое-где люди смотрели нам вслед из подъездов. И вся моя злость на себя, все мое презрение к себе обратились против несчастного Вебера. Когда он стал грозить, что наябедничает учителю гимнастики, я испытал прямо-таки наслаждение: он оказался не прав, он вел себя подло, он сделал меня сильнее.

Когда близ улицы Мясников мы дали волю рукам, несколько прохожих сразу остановились и стали глядеть на наши действия. Мы наносили друг другу удары в живот и в лицо, упершись ботинком в ботинок другого. И на какие-то мгновенья все забылось, я был прав, я не был преступником, я упивался боем, и, хотя Вебер был сильнее меня, я был ловчей, умней, проворнее, горячее. Мы распалились и дрались яростно. Когда он в отчаянии порвал мне воротник рубашки, я остро почувствовал, как пробежала по моей разгоряченной коже струя холодного воздуха.

И, не переставая бить, рвать, бороться, душить, мы по-прежнему задирали, оскорбляли и уничто-

жали друг друга словами, которые становились все более горячими, все более глупыми и злыми, все более поэтичными и фантастичными. И в этом я тоже превосходил его, я был злее, поэтичнее, изобретательнее. Если он говорил «собака», я говорил «сука». Если он кричал «сволочь», я орал «сатана». Мы оба обливались кровью, не замечая этого, а наши слова нагромождали проклятье на проклятье, мы желали друг другу болтаться на виселице, сожалели, что у нас в руках нет ножей, чтобы всадить их друг другу в ребра и там повернуть, каждый поносил имя другого, его происхождение, его отца.

Первый и единственный раз я вел такой бой до конца в полном упоении, со всеми ударами, со всеми жестокостями, со всеми ругательствами. Зрителем я бывал часто и часто с наслажденьем и ужасом слушал эти грубые, первобытные проклятья и непристойности; а сейчас я выкрикивал их сам, словно привык к ним сызмала и имел тут большой опыт. У меня из глаз текли слезы, а по губам кровь. Но мир был великолепен, в нем был смысл, хорошо было жить, хорошо было драться, хорошо было проливать свою и чужую кровь.

Ни разу не удавалось мне восстановить в памяти конец этой драки. Когда-то она кончилась,

когда-то я оказался один в тихой темноте, узнал углы улиц, дома, увидел себя вблизи от нашего дома. Хмель медленно проходил, свист крыльев и грохот медленно утихали, и действительность стала по частям пробиваться ко мне, сперва только через глаза. Вот колодец. Мост. Кровь у меня на руке, разорванная одежда, сползшие носки, боль в колене, болит глаз, нет шапки — все приходило мало-помалу, становилось действительностью и обращалось ко мне. Я вдруг донельзя устал и, почувствовав, как у меня дрожат колени и руки, ощупью поискал стену.

И тут возник наш дом. Слава богу! Я ничего не помнил, кроме того, что там — прибежище, мир, свет, безопасность. Со вздохом облегчения я толкнул высокую дверь.

Тут вместе с запахом камня и влажной прохлады на меня вдруг накатили воспоминания. О боже! Пахло строгостью, законом, ответственностью, отцом и Богом. Я украл. Я не был раненым героем, который возвращается домой с поля боя. Я не был бедным ребенком, который, вернувшись домой, находит у матери блаженное тепло и сочувствие. Я был вором, я был преступником. Там, наверху, меня ждали не прибежище, не постель и сон, не еда и уход, не утешение, не прощение.

Меня ждали вина и суд.

Тогда, в темной вечерней прихожей и на долгой лестнице, по ступеням которой я с трудом поднимался, мне впервые в жизни довелось подышать холодным эфиром, одиночеством, судьбой. Я не видел выхода, у меня не было ни планов, ни страха, ничего, кроме холодного, сурового чувства: «Так надо». Цепляясь за перила, я поднялся. Перед стеклянной дверью мне захотелось еще на минутку присесть на лестницу, перевести дух, успокоиться. Я этого не сделал, это не имело смысла. Надо было войти. Когда я открывал дверь, мне подумалось: который теперь час?

Я вошел в столовую. Они сидели вокруг стола, только что кончив есть, блюдо с яблоками еще не убрали. Было около восьми часов. Никогда я без спросу так поздно не возвращался домой, никогда не отсутствовал за ужином.

— Слава богу, пришел! — с живостью воскликнула мать. Я понял — она беспокоилась обо мне. Она бросилась ко мне и в испуге застыла, увидев мое лицо и мою грязную, изодранную одежду. Я ничего не сказал и ни на кого не взглянул, но ясно почувствовал, что отец и мать выразительно переглянулись. Отец, сдерживая себя, молчал; я чувствовал, в каком он гневе. Мать занялась

мною, мне вымыли лицо и руки, налепили пластырь, затем меня кормили. Сочувствие и забота окружали меня, я сидел молча, до глубины души пристыженный, ощущая тепло и наслаждаясь им с нечистой совестью. Затем меня отправили в постель. Я протянул руку отцу, не взглянув на него.

Когда я уже лежал в постели, ко мне пришла мать. Она сняла со стула мою одежду и приготовила мне другую, потому что на следующий день было воскресенье. Затем она стала осторожно расспрашивать меня, и мне пришлось рассказать о своей драке. Она хоть и нашла это скверным, но не стала меня бранить и, казалось, была немного удивлена тем, что я до такой степени испуган и подавлен случившимся. Потом она ушла.

И теперь, думал я, она убеждена, что все хорошо. Я решал спор кулаками и был избит до крови, но завтра это забудется. О другом, о сути дела она ничего не знает. Она огорчилась, но была естественна и ласкова. Отец тоже, значит, еще ничего, по-видимому, не знает.

И тут меня охватило ужасное чувство разочарования. Я понял теперь, что с той минуты, как я вошел в наш дом, мною целиком владело одно-единственное, страстное, всепоглощающее желание. Ни о чем другом я не думал, не

томился, не тосковал, как о том, чтобы гроза разразилась, чтобы суд надо мной состоялся, чтобы все ужасное произошло наконец и прекратился этот нестерпимый страх перед ним. Я ждал всего, был готов ко всему. Пусть меня строго накажут, выпорют, арестуют! Пусть он заморит меня голодом! Пусть проклянет, выгонит из дому! Лишь бы кончился страх, кончилось ожидание!

Вместо этого я лежал в постели, обласканный и любовно ухоженный, меня пощадили, меня не призвали к ответу за мои безобразия, и мне оставалось снова ждать и бояться. Они простили мне порванную одежду, долгое отсутствие, пропущенный ужин, потому что я устал, и у меня шла кровь, и им было жаль меня, но прежде всего потому, что они не подозревали об остальном, знали только о моих проступках, но не о моем преступлении. Мне достанется вдвойне, когда все откроется! Может быть, меня отправят, как грозили однажды, в исправительную колонию, где заставляют есть черствый хлеб, а все свободное время пилить дрова и чистить башмаки, где есть, по слухам, лишь большие общие спальни с надзирателями, которые бьют палкой воспитанников и в четыре часа утра будят их холодной водой. Или меня передадут полиции?

Но как бы то ни было, что бы ни произошло, мне опять предстояло ожидание. Я и дальше должен был жить в страхе, наедине со своей тайной, дрожа от каждого взгляда, от каждого шага в доме и не смея никому посмотреть в глаза.

Или может все-таки оказаться, что моего воровства вообще не заметят? Что все останется как было? Что я напрасно терплю все эти страхи и муки?.. О, если бы так оказалось, если бы это немыслимое чудо было возможно, я начал бы совершенно новую жизнь, я возблагодарил бы Бога, я показал бы, что способен жить беспорочно, без единого пятнышка! То, что я уже раньше пробовал делать, но безуспешно, теперь удастся, теперь у меня хватит воли и твердости, теперь, после таких мук, после такого ада! Все мое естество прониклось этим желанием, впилось в эту мысль. Утешение пришло с неба, как дождь. Будущее открылось лучезарной голубизной. С этими виденьями я уснул и сладко проспал всю ночь.

Наутро было воскресенье, и еще в постели я ощутил, как ощущают вкус плода, тот ни на что не похожий, странно сложный, но в целом восхитительный вкус воскресенья, который был знаком мне с тех пор, как я стал школьником. Воскресное утро — славная вещь: можно выспаться, не

надо идти в школу, в перспективе — хороший обед, не пахнет учителями и чернилами, бездна свободного времени. Это главное. Слабее звучали другие, более чуждые, более скучные ноты: церковь или воскресная школа, семейная прогулка, забота о парадной одежде. Из-за таких вещей этот чистый, славный вкус, этот восхитительный аромат немного искажался и портился — так бывало, когда два блюда, подававшиеся вместе, например, пудинг и подливка к нему, не совсем подходили друг к другу, или когда конфеты и печенье, которые тебе дарили в лавчонках, фатально отдавали сыром или керосином. Ты ел их, и они были хороши, но не было в их вкусе полноты, не было блеска, с этим приходилось мириться. Примерно таким чаще всего бывало и воскресенье, особенно когда приходилось идти в церковь или в воскресную школу, что, к счастью, требовалось не всегда. Свободный день приобретал из-за этого привкус обязанности и скуки. Да и во время семейных прогулок, даже если они часто и удавались, обычно всегда что-нибудь случалось, то ты ссорился с сестрами, то шагал слишком быстро или слишком медленно, то пачкал одежду смолой; без загвоздки дело, как правило, не обходилось.

Что ж, пускай. Мне было хорошо. Со вчерашнего дня прошла масса времени. Я не забыл своего гнусного поступка, я утром же вспомнил о нем, но то было так давно, страхи далеко отодвинулись и стали нереальными. Вчера я искупил свою вину, хотя бы лишь муками совести, пережив скверный, злосчастный день. Сейчас я снова был склонен к бодрости и прекраснодушию и не очень обременял себя мыслями. Полной, правда, беспечности еще не было, еще оставалось какое-то ощущение угрозы и неприятности, похожее на все эти мелкие обязанности и тяготы, омрачающие прекрасное воскресенье.

За завтраком мы все были веселы. Мне предоставили выбор между церковью и воскресной школой. Я, как всегда, предпочел церковь. Там тебя по крайней мере оставляли в покое и можно было предаваться своим мыслям; да и эти высокие, торжественные стены с цветными окнами бывали часто красивы и величавы, и если ты, сощурившись, глядел через длинный, сумрачный неф на орган, перед тобой возникали порой удивительные картины, выступавшие из мрака органные трубы казались сияющим городом со множеством башен. К тому же мне часто удавалось, если церковь не была набита битком, часок

почитать без помех какую-нибудь занимательную историю.

Сегодня я не взял с собой книжки и не собирался улизнуть из церкви, что тоже со мной случалось. Мне еще так живо помнился вчерашний вечер, что я был полон самых добрых намерений и честно хотел жить в ладу с Богом, родителями и миром. Моя злость на Вебера тоже совсем прошла. Если бы он пришел, я принял бы его самым приветливым образом.

Служба началась, я тоже пел строфы хорала, это была песня «Пастырь неустанный», которую мы и в школе выучили наизусть. Тут я снова заметил, как при пенье, а при замедленно-тягучем церковном пенье и подавно, строфа приобретает совершенно другой вид, чем при чтении глазами или наизусть. При чтении строфа была чем-то целым, имела смысл, состояла из фраз. А при пении она состояла из одних слов, фраз не получалось. Смысла не было, но зато слова, отдельные, растянутые напевом слова обретали какую-то странно могучую, независимую жизнь, часто даже отдельные слоги, сами по себе совершенно бессмысленные, обретали при пенье какую-то самостоятельность и законченность. В строфе, например, «Пастырь неустанный, сторож недре-

манный не смыкает глаз» при пенье в церкви не было ни связи, ни смысла, ни о каком пастыре, ни о каких овцах ты не думал, ты не думал вообще ни о чем. Но это вовсе не было скучно. Отдельные слова, особенно «недреманный», получали какую-то странную, прекрасную полноту, как-то убаюкивали, а «глаз» звучало таинственно и тяжело, напоминало «лаз» и какие-то темные, потаенные, полузнакомые вещи. Да еще орган!

А потом настала очередь городского священника и проповеди, которая всегда была непонятно длинной, и слушал я ее как-то особенно, то подолгу улавливая лишь звон говорящего голоса, похожий на колокольный, то вдруг очень отчетливо воспринимая отдельные слова вместе с их смыслом и стараясь подольше не упустить нить рассуждения. Если бы только мне сидеть у алтаря, а не на хорах, в толпе мужчин. У алтаря, где мне уже доводилось сидеть на церковных концертах, ты мог устроиться в тяжелых, отдельных креслах, каждое из которых походило на маленькую крепость, а над тобой был на редкость прелестный ребристо-сетчатый свод, а высоко на стене была в мягких тонах изображена Нагорная проповедь, и радостной нежностью наполнял тебя вид синих и красных одежд Спасителя на фоне голубого неба.

Порою поскрипывали церковные скамьи, к которым я испытывал глубокое отвращение, потому что они были окрашены желтой, скучной эмалевой краской, всегда чуть-чуть прилипавшей к одежде. Порой муха с жужжаньем билась об одно из окон, стрельчатые арки которых были расписаны красными цветами и зелеными звездами. Но вот неожиданно проповедь кончилась, и я потянулся вперед, чтобы увидеть, как исчезает священник в узком и темном рукаве лестницы. Снова все пели, с облегчением и очень громко, затем встали и потекли к выходу; бросив принесенный пятак в кружку для пожертвований, жестяное звяканье которой нарушало торжественность, я с людским потоком устремился к порталу и на улицу.

Теперь наступало самое лучшее время воскресного дня, два часа между церковью и обедом. Ты исполнил свой долг, после долгого сидения тебе хотелось подвигаться, поиграть или погулять, а то и почитать, и ты был совершенно свободен до обеда, а на обед обычно подавали что-нибудь вкусное. Довольный, я направился домой в самом радужном расположении духа. Мир был в порядке, жить можно было. Я преспокойно пробежал через прихожую и по лестнице наверх.

В моей комнатке светило солнце. Я проверил свои коробки с гусеницами — вчера мне было не до них, — нашел несколько новых куколок, полил растения.

Тут отворилась дверь.

Я не сразу это заметил. Через минуту тишина показалась мне странной; я обернулся. Передо мной стоял отец. Он был бледен и казался измученным. Приветствие застряло у меня в горле. Я увидел: он знает! Он пришел. Суд начался. Ничего не было ни улажено, ни искуплено, ни забыто! Солнце померкло, и воскресное утро сникло.

Ошарашенно глядел я на отца. Я ненавидел его: отчего не пришел он вчера? Сейчас я ни к чему не был готов, сейчас у меня ничего не было наготове — даже раскаянья, даже чувства вины… И зачем понадобилось ему держать у себя наверху в комоде винные ягоды?

Он подошел к моему книжному шкафу, запустил руку за книги и извлек несколько инжирин. Больше почти и не было. Он посмотрел на меня с немым, мучительным вопросом. Я не мог произнести ни слова. Боль и упрямство душили меня.

— Что такое? — вымолвил я наконец.

— Откуда у тебя эти винные ягоды? — спросил он спокойным, тихим голосом, которого я тер-

петь не мог.

Я сразу же начал говорить. Врать. Я сказал, что купил эти винные ягоды у кондитера, их была целая связка. Откуда взялись у меня деньги? Деньги взялись из копилки, которую я завел сообща с приятелем. Мы оба клали туда всю мелочь, какую от случая к случаю получали. Кстати — вот эта копилка. Я достал коробку с прорезью. Там было всего десять пфеннигов, как раз потому, что мы вчера купили инжиру.

Отец слушал с невозмутимо спокойным лицом, которому я не верил.

— Сколько же стоил этот инжир? — спросил он тихим голосом.

— Одну марку шестьдесят.

— Где ж ты его купил?

— У кондитера.

— У какого?

— У Хаагера.

Наступила пауза. Я по-прежнему держал свою копилку зябнущими пальцами. Все у меня остыло и зябло.

И тут он спросил, с угрозой в голосе:

— Это правда?

Я снова быстро заговорил. Да, конечно, это правда, и в лавке был мой друг Вебер, я его только

сопровождал. Деньги принадлежали, собственно, ему, Веберу, моя доля была невелика.

— Надень шапку, — сказал отец, — пойдем вместе к кондитеру Хаагеру. Он-то должен знать, правда ли это.

Я попытался улыбнуться. Теперь холод пробрал меня до самого нутра. Я пошел первым и надел в коридоре свою синюю шапочку. Отец отворил стеклянную дверь, он тоже надел шляпу.

— Одну минуту! — сказал я. — Мне нужно быстренько отлучиться.

Он кивнул. Я пошел в уборную, заперся, был один, был еще на миг в безопасности. О если бы мне сейчас умереть!

Я прождал минуту, прождал две. Бесполезно. Смерть не наступала. Надо было держаться. Я отпер дверь и вышел. Мы спустились по лестнице.

Когда мы выходили из подъезда, меня осенила хорошая мысль, и я поспешил сказать:

— Но сегодня же воскресенье, у Хаагера закрыто.

Появилась надежда, на две секунды. Отец сказал:

— Ну так мы сходим к нему домой. Пошли.

Мы отправились в путь. Поправив шапку, засунув одну руку в карман, я пытался идти рядом

с отцом так, словно ничего особенного не случилось. Прекрасно зная, что любой поймет по моему виду, что я арестант, я все-таки пытался скрыть это множеством ухищрений. Я старался дышать как ни в чем не бывало: никто не должен был видеть, как сжимало мне грудь. Я тщился придать лицу невинное выражение. Изобразить непринужденность и уверенность. Я подтягивал носок, хотя в этом не было надобности, и улыбался, зная, что эта улыбка выглядит страшно глупо и неестественно. Во мне, в горле и во внутренностях, сидел бес и душил меня.

Мы проходили мимо гостиницы, мимо дома подковщика, мимо дома извозчика, мимо железнодорожного моста. Там, на той стороне, я вчера вечером дрался с Вебером. Разве не ныла еще царапина возле глаза? Боже мой! Боже мой!

Я безвольно шел дальше, судорожно стараясь держаться прямо. Мимо адлеровского амбара, по Вокзальной улице. Как добра, как безобидна была эта улица еще вчера! Не думать! Дальше! Дальше!

Мы почти дошли до дома Хаагера. За эти несколько минут я уже сотни раз представлял себе сцену, которая ждала меня там. И все сейчас так и будет.

Но выдержать это оказалось невозможно. Я остановился.

— Что такое? В чем дело? — спросил отец.

— Я туда не пойду, — сказал я тихо.

Он посмотрел на меня свысока. Он ведь все знал с самого начала. Зачем я ломал перед ним комедию, зачем усердствовал? Это же было бессмысленно.

— Разве ты не покупал инжир у Хаагера? — спросил он.

Я покачал головой.

— Ах вот как, — сказал он внешне спокойно. — В таком случае можно вернуться домой.

Он вел себя деликатно, он щадил меня на улице, на людях. Людей на нашем пути было много, то и дело с отцом кто-нибудь здоровался. Какая комедия! Какое глупое, бессмысленное мученье! Я не был благодарен ему за эту бережность.

Он ведь все знал! И заставил меня попрыгать, заставил побарахтаться, как заставляют попрыгать пойманного мышонка, прежде чем его утопить. Да лучше бы он сразу, без всяких вопросов и допросов, стукнул меня палкой по башке, мне было бы это, право, милее, чем то спокойствие, та правота, с какими он тыкал меня носом в мое глупое вранье и медленно удушал.

Вообще, пожалуй, лучше было иметь грубого отца, чем такого благородного и справедливого. Если отец, как это описывалось в брошюрках, со зла ли, пьяный ли, избивал своих детей, значит, он был не прав, и, терпя боль от побоев, можно было все же пожимать плечами и его презирать. С моим отцом так не выходило, он был слишком благороден, слишком безукоризнен, он никогда не бывал не прав. Перед ним ты всегда оказывался маленьким и жалким.

Сжав зубы, я прошагал впереди него к дому и в свою комнату. Он все еще был спокоен, вернее, напускал на себя такой вид, ведь на самом деле, я хорошо чувствовал это, он был очень зол. И вот он заговорил в своей обычной манере:

— Мне хочется только знать — к чему эта комедия? Ты не можешь сказать мне? Я же сразу понял, что вся твоя распрекрасная история — ложь. Так зачем валять дурака? Ты же всерьез не считаешь меня настолько глупым, чтобы тебе поверить?

Я, не разжимая зубов, сделал глотательное движение. Перестал бы он лучше! Как будто я знал, почему сочинил эту историю! Как будто я знал, почему не смог признаться ему в своем преступлении и попросить прощения! Как будто я знал хотя бы, зачем украл этот несчастный инжир!

Разве я хотел этого, разве сделал это обдуманно, умышленно, по каким-то причинам? Разве я не сожалел об этом? Не страдал от этого больше, чем он?

Он ждал с напряженным лицом, показывавшим, как трудно ему сохранять терпение. На миг мне самому вся эта ситуация стала в душе совершенно ясна, однако я не смог бы тогда, как могу сегодня, выразить это словами. Было вот как: я украл потому, что пришел за утешением в отцовскую комнату и застал ее, к своему разочарованию, пустой. Я не хотел красть. Я хотел только, раз уж отца не оказалось на месте, пошпионить, порыться в его вещах, подслушать его секреты, узнать о нем что-нибудь. Вот как было. Потом попались винные ягоды, и я украл. И тут же раскаялся в этом, и весь вчерашний день мучился и отчаивался, хотел умереть, осуждал себя, проникался новыми, благими намерениями. А сегодня — да, сегодня все было иначе. Это раскаянье и все прочее я уже испил до дна, я был сейчас трезвее, я чувствовал в себе необъяснимое, но огромное сопротивление отцу и всему, чего он ждал от меня и добивался.

Если бы я мог сказать ему это, он бы понял меня. Но и дети, как ни превосходят они взрослых

умом, одиноки и беспомощны перед судьбой.

Окаменев от упрямства и затаенной боли, я продолжал молчать, я не прерывал его умных речей, с болью, но и со странным злорадством видя, как все идет кувырком, становится хуже и еще хуже, как он страдает, как разочарован, как напрасно взывает ко всему, что есть во мне лучшего.

Когда он спросил: «Значит, ты украл винные ягоды?» — я смог только кивнуть головой. Лишь слабо кивнуть удалось мне и тогда, когда он пожелал узнать, жаль ли мне, что так вышло… Как мог он, большой, умный человек, задавать такие дурацкие вопросы! Неужели мне могло быть не жаль! Неужели ему не видно было, какую мне все это причиняет боль, как надрывает сердце! Неужели я мог еще радоваться своему поступку и этому несчастному инжиру!

Наверно, впервые за свою детскую жизнь я почувствовал, я почти отчетливо осознал, как ужасно могут не понимать, мучить, терзать друг друга два родных, полных взаимной доброжелательности человека и как тогда любые речи, любое умничанье, любые разумные доводы лишь подливают яду, приводят лишь к новым мукам, новым уколам, новым промахам. Как это так получалось? Но так получалось, так выходило.

Это было нелепо, это было безумно, хоть смейся, хоть плачь — но было именно так.

Хватит об этой истории! Кончилось тем, что на всю вторую половину дня меня заперли в комнате на чердаке. Какую-то долю своей жестокости это суровое наказание утратило благодаря обстоятельствам, которые были, правда, моей тайной. В темной, пустовавшей мансарде стоял сильно запылившийся ящик, наполовину заполненный старыми книгами, иные из которых отнюдь не были предназначены для детей. Читал я при свете, проникавшем сквозь крышу, после того как я отвалил одну черепичину.

Вечером этого печального воскресенья, перед самым сном, отцу удалось завести со мной еще короткий разговор, который нас помирил. Я лег в постель с уверенностью, что он меня целиком и полностью простил — полнее, чем я его.

Клейн и Вагнер

1

В скором поезде, после спешки и волнений, связанных с бегством и переездом через границу, после вихря тревог и событий, волнений и опасностей, еще глубоко удивленный тем, что все сошло хорошо, Фридрих Клейн совсем сник. Поезд катился со странной деловитостью — хотя торопиться больше не нужно было — на юг, торопливо пронося немногочисленных пассажиров мимо озер, гор, водопадов и прочих чудес природы, через гулкие туннели и мягко покачивающиеся мосты, все кругом было непривычно красиво и немного бессмысленно, мелькали картинки из учебников и открыток, пейзажи, которые вспоминаешь как знакомые и которые все-таки не имеют к тебе ни малейшего отношения. Это была наконец чужбина, и здесь теперь было его место, домой возврата не было. С деньгами все обошлось благополучно, они были здесь, при нем, все эти тысячные купюры, они по-прежнему лежали у него в нагрудном кармане.

Мысль, что теперь с ним уже ничего не случит-

ся, что он за границей и пока, благодаря своему фальшивому паспорту, защищен от преследования, эту приятную и успокоительную мысль он, правда, то и дело вытаскивал, надеясь согреться и насытиться ею, но эта славная мысль была как мертвая птица, которой дует в крылья ребенок. Она не была жива, она не открывала глаз, она падала из рук, как свинец, от нее не было ни наслаждения, ни блеска, ни радости. Странное дело, он не раз уже замечал в эти дни: он совершенно не мог думать о том, о чем хотел, он не распоряжался своими мыслями, они шли, как им хотелось, и, сколько он ни упрямился, предпочитали задерживаться на том, что его мучило. Его мозг стал как бы калейдоскопом, в котором сменой картин управляла чужая рука. Возможно, все дело только в долгой бессоннице и возбуждении, ведь волнуется он уже довольно давно. Во всяком случае, это скверно, и, если не удастся вновь обрести вскоре какое-то спокойствие и какую-то радость, впору отчаяться.

Фридрих Клейн ощупью поискал револьвер в кармане пальто. Этот предмет, револьвер, тоже входил теперь в его снаряжение, в его роль и личину. Как было, в сущности, тягостно и противно таскать за собой и вплоть до некрепкого,

отравленного сна держать при себе все это — преступление, поддельные документы, тайно зашитые деньги, револьвер, чужую фамилию. Все это так отдавало сказками о разбойниках, дурной романтикой, так не подходило к нему, Клейну, доброму малому. Это было тягостно и противно, ни облегчения, ни освобождения, на которые он надеялся, не было и в помине.

Господи, зачем он, собственно, все это взвалил на себя, он, человек почти сорока лет, известный как честный службист и тихий, добропорядочный гражданин с ученой жилкой, отец любимых детей! Зачем? Он чувствовал: необходим был какой-то порыв, какой-то нажим и натиск достаточной силы, чтобы толкнуть на невозможное дело такого человека, как он, — и только поняв это, только распознав этот порыв и натиск, только приведя все в порядок внутри себя, только тогда можно будет хоть как-то вздохнуть.

Он резко выпрямился на сиденье и, сжав большими пальцами виски, постарался подумать. Это не получалось, голова была как стеклянная, она была изнурена волнениями, усталостью и недосыпанием. Но ничего не попишешь, подумать он должен был. Он должен был искать и должен был найти, он должен был снова почувствовать

какой-то стержень в себе, хоть как-то узнать и понять себя. Иначе нельзя было влачить жизнь дальше.

Он попытался собрать воспоминания этих дней, как собирают пинцетом осколки фарфора, чтобы заделать трещину в старой шкатулке. Это были сплошь мелкие черепки, ни один не был связан с другими, ни один не намекал формой и цветом на целое. Какие воспоминания! Он видел синюю коробочку, из которой он дрожащей рукой вынул служебную печать своего начальника. Видел старика за окошком кассы, который выплачивал деньги по его чеку коричневыми и синими банкнотами. Видел телефонную кабину, где он, говоря в трубку, уперся левой ладонью в стенку, чтобы удержаться на ногах. Вернее, видел, как делает все это не он, а кто-то, кто-то посторонний, кто, не будучи им самим, носил фамилию Клейн. Видел, как тот сжигает письма, пишет письма. Видел, как обедает в ресторане. Видел, как тот — нет, это не был посторонний, это был он, это был сам Фридрих Клейн! — склонился ночью над постелью спящего ребенка. Нет, это был он сам! Как это было больно, и сейчас, при воспоминании, снова! Как это было больно — видеть лицо спящего ребенка, слышать его дыхание

и знать: никогда больше не видеть открытыми этих дорогих глаз, не видеть, как смеется и ест этот ротик, не ждать, что он поцелует тебя. Как это было больно! Зачем этот посторонний Клейн причинял себе такую боль!

Он оставил попытку собрать осколки. Поезд остановился, был виден чужеземный вокзал, хлопали двери, мелькали чемоданы за окном вагона, синие и желтые плакаты громко кричали: гостиница «Милано», гостиница «Континенталь»! Надо ли было ему обращать на это внимание? Было ли это важно? Таило ли опасность? Закрыв глаза, он на миг впал в забытье, сразу же встрепенулся, широко раскрыл глаза, изобразил бдительность. Где он находился? Вокзал был еще на месте. Стоп — как моя фамилия? Он прорепетировал в тысячный раз. Итак: как моя фамилия? Клейн. Нет, к черту! Долой Клейна, Клейна больше нет. Он ощупью поискал бумажник, где лежал паспорт.

Как все это было утомительно! Вообще… кто бы знал, как это безумно утомительно — быть преступником!.. Он сжал руки в кулаки от напряжения. Ведь все это здесь совершенно не касалось его; гостиница «Милано», вокзал, носильщики — все это он мог спокойно отбросить… нет, дело шло о другом, о важном, — о чем?

В полудреме — поезд уже снова шел — он вернулся к своим мыслям. Это ведь было так важно, вопрос ведь был в том, можно ли влачить жизнь дальше. Или… разве не проще покончить со всей этой утомительной бессмыслицей? Разве у него нет при себе яда? Опиума?.. Ах нет, вспомнил он, яда ведь он не достал. Но у него есть револьвер. Да, верно, очень хорошо. Великолепно.

«Очень хорошо» и «великолепно» сказал он вслух и прибавил еще несколько таких слов. Он вдруг услышал свой голос, испугался, увидел в оконном стекле отражение своего искаженного лица, чужого, карикатурного и грустного. Господи, крикнул он про себя, господи! Что делать? Зачем жить дальше? Стукнуть лбом в эту бледную рожу, броситься на это мутное дурацкое стекло, вгрызться в него, перерезать себе стеклом горло. Удариться головой о шпалы, глухо и гулко, намотаться на колеса множества вагонов, все вперемешку, кишки и мозги, кости, сердце, глаза — и растереться по рельсам, стать ничем, уничтожиться. Это было единственное, чего оставалось желать, что еще имело смысл.

В отчаянии уставившись в свое отражение, прижавшись носом к стеклу, он снова уснул. То ли на несколько секунд, то ли на несколько часов.

Голова его болталась, он не открывал глаз.

Очнулся он ото сна, последняя часть которого осталась у него в памяти. Он сидел — снилось ему — на переднем сиденье автомобиля, быстро и довольно рискованно ехавшего по городу то в гору, то с горы. Рядом с ним сидел кто-то, кто правил машиной. Во сне он пнул этого человека в живот, вырвал у него руль и повел автомобиль сам, очертя голову, напролом, почти впритирку мимо лошадей и витрин, задевая деревья, так что только искры из глаз сыпались.

После этого сна он очнулся. Голова у него стала яснее. Он улыбнулся по поводу приснившегося. Пинок в живот был хорош, он с радостью воспроизвел его мысленно. Он принялся восстанавливать сон и о нем размышлять. Как пролетал автомобиль мимо деревьев! Может быть, это объяснялось движением поезда? Но вести машину было, при всей опасности, наслаждением, счастьем, избавлением! Да, лучше самому вести машину и при этом разбиться, чем чтобы тебя всегда вез и направлял кто-то другой.

Но… кому, собственно, нанес он во сне этот удар? Кто был этот незнакомый шофер, кто сидел рядом с ним за рулем машины? Он не мог вспомнить ни лица, ни фигуры — вспоминалось

лишь какое-то чувство, какое-то неясное общее настроение… Кто бы мог это быть? Кто-то, кого он уважал, за кем признавал право распоряжаться его, Клейна, жизнью, кого терпел над собой и кого все-таки втайне ненавидел, кому в конце концов дал пинка в живот! Может быть, его отец? Или кто-нибудь из его начальников? Или… или наконец это я?

Клейн вытаращил глаза. Он нашел конец потерянной нити. Он снова все понял. Сон был забыт. Было кое-что поважнее. Теперь он понял! Теперь он начал понимать, догадываться, ощущать, почему он сидел сейчас в поезде, почему перестал называться Клейном, почему присвоил деньги и подделал документы. Наконец, наконец-то!

Да, так оно и есть. Нет никакого смысла и дальше скрывать это от себя. Все вышло из-за его жены, исключительно из-за жены. Как хорошо, что он наконец это понял!

С башни этого открытия он как бы вдруг смог оглядеть широкие полосы своей жизни, которая с давних пор всегда распадалась у него все на какие-то никчемные дольки. Он оглянулся на некий пройденный им длинный отрезок, на весь свой брак, и отрезок этот показался ему длинной, утомительной, пустынной дорогой, по которой

тащится в пыли одинокий путник с тяжелой кладью. Где-то сзади, знал он, скрылись в пыли сияющие вершины и зеленые, шумящие леса молодости. Да, он был молод когда-то и был юношей недюжинным, мечтал о великом, многого требовал от себя и от жизни. Но с тех пор все пыль да кладь, длинная дорога, жара, усталые колени и только сонная, застарелая тоска по прошлому, засевшая в черствеющем сердце. Вот чем была его жизнь. Вот чем была его жизнь.

Он взглянул в окно и вздрогнул от изумления. Непривычные картины глядели на него. Встрепенувшись, он вдруг увидел, что он на юге. Он удивленно поднялся, высунул голову, и опять упала какая-то пелена, и загадка его судьбы стала немного яснее. Он был на юге!

Он видел беседки из виноградных лоз на зеленых террасах, золотисто-бурые каменные стены, наполовину развалившиеся, как на старинных гравюрах, цветущие розовые деревья. Промелькнул вокзальчик с итальянским названием, что-то на «оньо» или «онья».

В какой-то мере Клейн мог теперь разглядеть флюгер своей судьбы. Путь этот уводил его, Клейна, от его брака, от его службы, от всего, что было его жизнью и его родиной. И путь этот шел на

юг! Только теперь он понял, почему в спешке и опьянении бегства выбрал своей целью этот город с итальянским названием. Выбрал по указателю гостиниц; казалось, наобум, наудачу, он мог с таким же основанием выбрать Амстердам, Цюрих или Мальмё. Только теперь это перестало быть случайностью. Он был на юге, он переехал через Альпы. И таким образом исполнил самое лучезарное желание своей юности, той юности, памятные знаки которой погасли и потерялись на долгой, унылой дороге бессмысленной жизни. Неведомая сила сделала так, что сбылись два самых жгучих желания его жизни: давно забытая тоска по югу и тайное, никогда не становившееся ясным и свободным стремление убежать, избавиться от кабалы и мертвечины его брака. Этот спор с начальником, эта неожиданная возможность присвоить деньги — все это, казавшееся ему таким важным, низвелось теперь до мелких случайностей. Не они управляли им. Победили те два великих желания в его душе, все остальное было лишь путем и средством.

Клейн очень испугался этого нового понимания случившегося. Он почувствовал себя как ребенок, который, играя спичками, поджег дом. И вот дом горит. Боже мой! А ему-то что это даст? И доедь

он даже до Сицилии, до Константинополя, разве это сделает его моложе на двадцать лет?

Между тем поезд летел, и деревни, одна за другой, летели ему навстречу, непривычно красивые, живописно-веселая детская книжка со всеми прелестями, которых ждут от юга, зная его по открыткам: каменные, красиво изогнутые мосты над ручьями и бурыми скалами, стены в винограде, обросшем маленькими папоротниками, высокие, стройные колокольни, расписные или оттененные сводчатыми павильонами с легкими, благородными арками фасады церквей, дома, окрашенные в розовый цвет, и толстостенные, прохладнейшей голубизны здания с аркадами, прирученные каштаны, кое-где черные кипарисы, взбирающиеся на гору козы, на лужайке перед помещичьим домом первые пальмы, короткие и толстые. Все было странно и довольно неправдоподобно, но все вместе было все-таки донельзя красиво и предвещало что-то похожее на утешение. Юг этот действительно существовал, он не был сказкой. Мосты и кипарисы были сбывшимися мечтами юности, дома и пальмы говорили: ты уже не среди старого, начинается сплошь новое. Казалось, что воздух и солнечный свет приправлены пряностями и

усилены, что легче дышится, что жизнь приемлемее, что без револьвера можно обойтись, что не так уж и необходимо самоуничтожаться на рельсах. Казалось, что можно сделать какую-то попытку, несмотря ни на что. Вдруг и удастся как-то стерпеться с жизнью.

На него опять нашла вялость, теперь он легче поддался ей и проспал до тех пор, пока не наступил вечер и его не разбудило полнозвучное название того городка с гостиницей. Он поспешно сошел.

Служитель с бляшкой «Гостиница Милано» на шапке заговорил с ним по-немецки, Клейн заказал номер и взял адрес. Сонный, он с трудом выбрался из шумного стеклянного зала в теплый вечер.

«Так я представлял себе Гонолулу», — мелькнуло у него в голове. Фантастически беспокойный пейзаж, уже почти ночной, качнулся ему навстречу, незнакомый и непонятный. Перед ним круто обрывался холм, там внизу, как в глубокой коробке, лежал город. Клейн поглядел прямо вниз на освещенные площади. Со всех сторон крутые, заостренные, как сахарные головы, горы отвесно падали в озеро, различимое по отсветам бесчисленных фонарей набережной. Как

корзинка, спускалась по своему желобу в город кабина фуникулера, в этом было что-то полуопасное-полуигрушечное. На некоторых конусах гор до самых вершин горели затейливыми рядами, ступенями и созвездьями освещенные окна. Из города вырастали крыши больших отелей, между ними чернели сады, по-летнему теплый вечерний ветер, пыльный и ароматный, благодушно порхал под яркими фонарями. Из беспорядочно мерцавшей огнями темноты у озера ритмично и смешно накатывала музыка духового оркестра.

Гонолулу это, Мехико или Италия, было ему безразлично. Это был чужой край, это был новый мир, новый воздух, и, хотя они смущали его и наполняли тайным страхом, от них веяло хмелем, забвеньем и новыми, неиспытанными чувствами.

Одна из улиц вела, казалось, за город, он побрел по ней, мимо складских сараев и пустых подвод, затем мимо домиков предместья, где громкие голоса кричали что-то по-итальянски и стрекотала мандолина во дворе какой-то харчевни. В последнем доме звенел девичий голос, от душистого благозвучия у него сжалось сердце, множество слов он, к своей радости, понял и запомнил припев:

Mama non vuole, papa ne meno.
Come faremo a fare l'amor![1]

Это звучало как в мечтах его юности. Бездумно шагал он по улице дальше, увлекаемый, как потоком, теплой ночью, в которой пели цикады. Показался виноградник, и он, завороженный, остановился: фейерверк, хоровод зеленых огоньков наполнял воздух и душистую высокую траву, тысячи метеоров кружились в самозабвенном коловращенье. Это был рой светляков, медленно и бесшумно плавали они в теплых волнах ночи. Летний воздух и летняя земля, казалось, обрели фантастическую выразительность в светящихся знаках, в тысячах маленьких подвижных созвездий.

Долго стоял чужестранец как завороженный, забыв за прекрасно-диковинным бедственную историю этого путешествия и бедственную историю своей жизни. Неужели еще существовала действительность? Неужели еще были на свете дела и полиция? Асессоры и курсовые бюллетени? Неужели в десяти минутах отсюда находился вокзал?

Медленно повернул беглец, удравший из жиз-

---

[1] notes: 1
Мама не хочет, папа тоже,

ни в сказку, назад к городу. Загорались фонари. Люди кричали ему какие-то слова, которых он не понимал. Незнакомые исполинские деревья стояли в цвету, каменная церковь головокружительным уступом висела над пропастью, светлые, прерываемые лестницами улицы быстро, как горные ручьи, стекали в город.

Клейн нашел свою гостиницу, и как только он оказался в очень светлом, спокойном помещении, в вестибюле и на лестничной клетке, его хмель прошел и к нему вернулась пугливая робость, его проклятие и каинова печать. Он смущенно прокрался под цепкими, оценивающими взглядами швейцара, официантов, мальчишки-лифтера и постояльцев в самый глухой угол ресторана. Слабым голосом попросив меню, он внимательно, словно был еще беден и должен был экономить, прочел цены всех блюд, заказал что-то дешевое, искусственно вдохновил себя на полбутылки бордо, которое показалось ему невкусным, и был рад, когда наконец улегся за запертой дверью своего обшарпанного маленького номера. Вскоре уснув, он спал жадно и крепко, но всего два-три часа. Среди ночи он проснулся.

Возвращаясь из бездн забытья, он уставился в неприязненный сумрак, не вспомнил, где нахо-

дится, испытал гнетущее чувство вины, чувство, что забыл и упустил что-то важное. В смятении нашарив рычажок выключателя, он зажег свет. Маленькая комната прыгнула в яркий свет, незнакомая, унылая, нелепая. Где он? Злобно глазели на него плюшевые кресла. Все глядело на него холодно и вызывающе. Но вот он нашел себя в зеркале и по своему лицу прочел то, что забыл. Да, он вспомнил. Этого лица у него не было раньше, не было этих глаз, этих морщин, этих красок. Это было новое лицо, однажды уже оно перед ним возникало в зеркале оконного стекла, когда-то в суматошном спектакле этих безумных дней. Это было не его лицо, доброе, тихое и немного страдальческое лицо Фридриха Клейна. Это было лицо отмеченного, лицо, на которое судьба наложила новые печати, старше и в то же время моложе, чем прежнее, похожее на маску и все же удивительно возбужденное. Никто не любил такие лица.

Вот он сидит в номере какой-то гостиницы на юге со своим отмеченным лицом. Дома спят его дети, которых он бросил. Никогда больше он не увидит, как они спят, как просыпаются, никогда больше не выпьет воды из стакана на тумбочке, где возле лампы лежат вечерняя почта и книга,

а рядом на стене над кроватью портреты его родителей, и всё, и всё… Вместо этого он здесь, в иностранной гостинице, глядит в зеркале в грустное и испуганное лицо преступника Клейна, и плюшевая мебель смотрит на него холодным и скверным взглядом, и все теперь другое, все разладилось. Если бы его отец дожил до этого!

Со времен юности Клейн никогда не оказывался во власти своих чувств так непосредственно и в таком одиночестве, никогда не был до такой степени на чужбине, настолько голым и незащищенным под неумолимым солнцем судьбы. Всегда он бывал чем-то занят, чем-то другим, а не самим собой, всегда ему надо было что-то делать и о чем-то заботиться: о деньгах, о повышении по службе, о мире в доме, о школьных делах и о детских болезнях; всегда его обступали великие, священные обязанности гражданина, супруга, отца, под их защитой и в их тени он жил, им приносил жертвы, эти обязанности были оправданием и смыслом его жизни. А теперь вдруг он повис голый в космическом пространстве, был один перед солнцем и луной и чувствовал вокруг себя разреженный, ледяной воздух.

И удивительно было то, что в это страшное, опасное для жизни положение повергло его не

землетрясение, поверг никакой не бог и не дьявол, а он сам, только он сам! Его собственный поступок метнул его сюда, сделал одиноким среди чужой бесконечности. Все выросло и возникло в нем самом, судьба разразилась в его собственном сердце. Преступление и бунт, отказ от священных обязанностей, прыжок в космос, ненависть к жене, бегство, одиночество и, может быть, самоубийство. Другим выпадали на долю беды и потрясения из-за пожара или войны, из-за несчастного случая или по чьей-либо злой воле, а он, преступник Клейн, ни на что подобное сослаться не мог, не мог отговориться ничем, не мог ни на кого свалить ответственность, разве что на жену. Да, уж ее-то можно и нужно призвать к ответу, на нее он сможет кивнуть, если с него когда-нибудь спросится!

Великая злость вспыхнула в нем, и вдруг на него что-то нашло, что-то жгучее и гибельное, какой-то клубок образов и ощущений. Это напомнило ему сон об автомобиле и о том, как он пнул там в живот своего врага.

Вспомнилось ему сейчас одно чувство, вернее, одна фантазия, одно странное и болезненное душевное состояние, одно искушение, одна безумная прихоть или как еще это назвать. Это

был образ, это было видение кровавого злодейства, которое он учинил, лишив жизни жену, детей и себя самого. Уже не раз — вспомнил он теперь, все еще видя в зеркале свое отмеченное печатью, сумасшедшее лицо преступника, — уже не раз доводилось ему представлять себе это четырехкратное убийство, вернее, отчаянно сопротивляться этому мерзкому и нелепому видению, которое тогда явилось ему. Именно тогда начались у него, показалось ему, те мысли, мечты и мучительные состояния, что потом, со временем, привели к присвоению денег и к его бегству. Может быть — это было вполне возможно, — уйти из дому заставило его не только ставшее огромным отвращение к жене и к своей супружеской жизни, но еще больше страх перед тем, что однажды он все-таки совершит это куда более ужасное преступление: убьет, зарежет их всех, увидит их в лужах крови. И больше того: у этого образа тоже была предыстория. Он приходил временами как легкий приступ головокружения, когда кажется, что вот-вот упадешь. Но у самой картины убийства был особый источник.

В тот раз, когда у него впервые возникла навязчивая идея убийства семьи и он до смерти испугался этого дьявольского видения, к нему

как бы в насмешку привязалось воспоминание об одном случае. А именно: много лет назад, когда жизнь его была еще мирной, почти даже счастливой, он как-то говорил с сослуживцами об ужасном преступлении одного южно-германского школьного учителя по фамилии В. (он не сразу вспомнил фамилию), который каким-то особенно зверским образом вырезал всю свою семью, а потом сам наложил на себя руки. Возник вопрос, в какой мере можно при таком преступлении говорить о вменяемости, и в дальнейшем о том, можно ли вообще и как можно понять и объяснить такое злодеяние, такой чудовищный взрыв человеческой мерзости. Он, Клейн, был тогда очень взволнован и крайне резко возразил сослуживцу, пытавшемуся психологически объяснить это убийство: у порядочного человека такое мерзкое преступление не может вызвать ничего, кроме негодования и отвращения, подобное зверство может зародиться лишь в мозгу дьявола, и для преступника этого рода любое наказание, любой суд, любая пытка недостаточно суровы и тяжки. Он и сегодня хорошо помнил стол, за которым они сидели, и удивленный, немного критический взгляд, который бросил на него старший сослуживец после этого взрыва

негодования.

Так вот, в тот раз, когда он впервые в страшной фантазии увидел себя убийцей своих близких и ужаснулся этому видению, ему сразу же пришел на память тот многолетней давности разговор об убившем своих родных В. И странное дело, хотя он мог поклясться, что высказал тогда свои истинные чувства совершенно искренне, теперь в нем возник неприятный внутренний голос, который издевался над ним и твердил: уже тогда, уже тогда, много лет назад, во время разговора об учителе В. его, Клейна, душа понимала этого преступника, а его бурное негодование, его волнение вызывались лишь тем, что сидевший в нем мещанин и ханжа не хотел прислушаться к голосу сердца. Ужасные кары и пытки, которых он желал тому женоубийце, возмущенные ругательства, которыми он поносил его поступок, — все это он, в сущности, обращал против себя, против наверняка уже тогда таившегося в нем зародыша преступления! Великое его волнение во время всего этого разговора и вообще по этому поводу объяснялось лишь тем, что в действительности он видел себя судимым, обвиняемым в кровавом убийстве и пытался спасти свою совесть, взваливая на себя любое обвинение, любой тяжкий

приговор. Как будто он мог всеми этими остервенелыми нападками на себя самого наказать или заглушить свою тайную, внутреннюю преступность.

Вот куда пришли мысли Клейна, и он чувствовал, что тут дело идет для него о важных вещах, о самой жизни. Но расчленить и привести в порядок эти воспоминания и мысли было невыразимо трудно. Каждый проблеск последних, освобождающих истин гасил усталость и отвращение к обстоятельствам, в которых он оказался. Он встал, вымыл лицо, походил по комнате босиком, пока не замерз, и решил уснуть.

Но сна не было. Он лежал весь во власти своих ощущений, а это были чувства сплошь гнусные, болезненные и унизительные: ненависть к жене, жалость к себе, растерянность, потребность в объяснениях, оправданиях, утешительных доводах. И поскольку сейчас никаких других утешительных доводов у него не возникало, а путь к пониманию случившегося так далеко и так беспощадно уводил в самые тайные и самые опасные закоулки воспоминаний, а сон не возвращался, он пролежал остаток ночи в состоянии, какого в столь гнусной степени еще не испытывал. Все гадкие чувства, в нем споривши, соединились

в ужасном, удушающем, смертельном страхе, в дьявольской тяжести на сердце и на легких, которая, вырастая, достигала все новых и новых пределов. Что такое страх, это он давно знал, уже много лет, а в последние недели и дни узнал и подавно! Но так, горлом, он его еще никогда не чувствовал! Помимо воли он думал о пустяках, о забытом ключе, о гостиничном счете, создавая из этого горы забот и мучительных ожиданий. Вопрос, обойдется ли эта замызганная комнатушка больше чем в три с половиной франка за ночь и следует ли ему в таком случае здесь задерживаться, мучил его добрый час, вогнял в пот, вызывал сердцебиенье. При этом он прекрасно знал, сколь глупы подобные мысли, и то и дело урезонивал себя, как упрямого ребенка, перечисляя себе все доказательства полной неосновательности своих забот, — безуспешно, совершенно безуспешно! Больше того, за этими утешениями и уговорами мерещилось что-то вроде жестокой издевки, словно и это лишь позерство и притворство, такое же в точности, как его позерство по поводу убийцы В. Что этот смертельный страх, что это ужасное чувство удушья, обреченности мучительно задохнуться вызваны не заботой о нескольких франках и не подобного рода причинами, было

ему ясно. За этим таилось нечто худшее, нечто более серьезное — но что? Какие-то вещи, наверно, связанные с тем кровожадным учителем, с его, Клейна, собственными кровавыми желаниями, со всем больным и беспорядочным в нем самом. Но как к этому подступиться? Как найти причину? Внутри у него не было места, которое не кровоточило, не болело, не ныло бы, не было бы безумно чувствительно к боли. Он понимал: долго этого не выдержать. Если так пойдет дальше, особенно если повторятся такие ночи, он сойдет с ума или покончит с собой.

Напряженно приподнявшись в постели, он пытался разобраться в своем положении, чтобы справиться с ним. Но получалось все то же: одиноко и беспомощно, с пылающей головой и мучительной тяжестью на сердце, в смертельном страхе сидел он перед судьбой, как птица перед змеей, оцепенев и обессилев от ужаса. Судьба, он теперь это знал, не приходила откуда-то, она росла в нем самом. Если он не найдет средства против нее, она сожрет его; тогда страх будет преследовать его шаг за шагом, постепенно отнимая у него разум, шаг за шагом, пока не оттеснит к самому краю, который, чувствовал Клейн, уже недалек.

Суметь понять — это было бы хорошо, это было бы, возможно, спасеньем! Он далеко еще не осмыслил своего положения и того, что произошло. Он только начинал постигать это, чувствовал он. Если ему удастся сейчас собраться с силами и все тщательно подытожить, систематизировать и взвесить, тогда он, может быть, найдет нить. Тогда все приобретет какой-то смысл и облик и, может быть, станет терпимо. Но на это усилие, на этот последний рывок у него не хватало пороху, он просто не мог их сделать. Чем сосредоточеннее пытался он думать, тем хуже шло дело, вместо воспоминаний и объяснений он находил в себе только пустоты, ничего не приходило ему на ум, и при этом его снова уже преследовал мучительный страх, что самое главное-то он и забыл. Он судорожно рылся в себе, как нервный пассажир, способный переворошить все свои сумки и чемоданы в поисках билета, который находится у него за лентой шляпы или даже в руке. Но что толку было от этого «может быть»?

Прежде, час назад или раньше, разве он не открыл, не нашел чего-то? Что это было, что? Улетело, пропало. Он в отчаянье стукнул себя кулаком по лбу. Боже правый, дай мне найти ключ! Не дай мне погибнуть так, так уныло, так глупо,

так грустно! Разорванное на клочья, как тучи в бурю, проносилось мимо него все его прошлое. Миллионы картин, вперемешку и вперемежку, неузнаваемых, издевательских, каждая что-то напоминала — но что? Но что?

Вдруг он нашел на губах у себя имя «Вагнер». Как в забытьи, он произнес его: «Вагнер… Вагнер». Откуда взялось это имя? Из какой глубины? Чего оно хотело? Кто такой Вагнер? Вагнер?

Он вцепился в это имя. У него была теперь задача, проблема, это было лучше, чем витать в облаках бесформенного. Итак: кто такой Вагнер? Какое мне дело до Вагнера? Почему мои губы, перекошенные губы на моем лице, лице преступника, бормочут сейчас, среди ночи, имя «Вагнер»? Он собрался с силами. На ум ему приходила всякая всячина. Он подумал о Лоэнгрине и тем самым о несколько неясном своем отношении к музыканту Вагнеру. В двадцать лет он, Клейн, неистово любил его. Потом он стал недоверчив, а со временем нашел множество доводов и возражений против него. Он всячески критиковал Вагнера, но, может быть, критика эта касалась не столько самого Рихарда Вагнера, сколько его, Клейна, собственной прежней любви к нему? Ха-ха, он опять уличил себя? Опять

открыл обман, маленькую ложь, маленькую нечистоплотность? Ну да, на свет выходило одно за другим: в безупречной жизни служащего и супруга Фридриха Клейна все было совсем не безупречно, вовсе не так опрятно, в каждом углу таилась нечистая сила! Да, верно, значит, так было и с Вагнером. Композитора Рихарда Вагнера Фридрих Клейн резко осуждал и ненавидел. Почему? Потому что Фридрих Клейн не мог простить себе, что в молодости восторгался этим же самым Вагнером. В лице Вагнера он преследовал теперь свою собственную восторженность молодых лет, свою собственную молодость, свою собственную любовь. Почему? Потому что молодость, восторженность, Вагнер и все такое мучительно напоминали ему о потерянном, потому что он позволил женить себя на женщине, которую не любил или, во всяком случае, любил не по-настоящему, недостаточно. Ну и так же, как он поступил с Вагнером, точно так же поступал служащий Клейн со многими и со многим. Он был порядочный человек, этот господин Клейн, но за своей порядочностью он прятал не что иное, как стыд и срам! Да, если быть честным, сколько тайных мыслей приходилось ему скрывать от себя самого! Сколько взглядов вслед красивым

девушкам на улице, сколько зависти к парочкам, встречавшимся ему вечерами, когда он шел со службы домой к жене! И затем эти мысли об убийстве. И разве не перенес он всю ненависть, которой заслуживал сам, на того учителя?..

Он вдруг ужаснулся. Опять какая-то связь! Ведь фамилия этого учителя-убийцы была — Вагнер! Так вот где собака зарыта! Вагнер — так звали того кошмарного, того безумного преступника, который убил всю свою семью. Не была ли уже много лет как-то связана с этим Вагнером вся его жизнь? Не преследовала ли его всюду эта недобрая тень?

Теперь, слава богу, нить снова нашлась. Да, и на этого Вагнера он когда-то, в давно прошедшие лучшие времена, негодовал и ополчался, желая ему самых жестоких кар. А позднее, не думая больше о Вагнере, вынашивал такую же мысль и в воображении не раз видел себя убивающим жену и детей.

И разве это не было, в сущности, очень понятно? Разве это не было правильно? Разве не было очень легко дойти до такой точки, когда ответственность за жизнь детей становится для человека невыносимой, такой же невыносимой, как собственная сущность и жизнь, которую

ощущаешь лишь как ошибку, лишь как вину и муку?

Со вздохом додумал он эту мысль до конца. Теперь он был совершенно уверен, что уже тогда, впервые услышав о вагнеровском убийстве, он сердцем понял и одобрил его, одобрил, конечно, лишь как возможность. Уже тогда, когда он еще не чувствовал себя несчастным, еще не чувствовал, что его жизнь загублена, уже тогда, много лет назад, когда он еще полагал, что любит жену и верит в ее любовь, уже тогда его душа понимала учителя Вагнера и втайне соглашалась с его ужасным жертвоприношением. То, что он тогда говорил и утверждал, было всегда лишь мнением его разума, но не его сердца. Его сердце — тот сокровенный корень в нем, из которого вырастала его судьба, — всегда-всегда было другого мнения, оно понимало преступления и одобряло их. Всегда было два Фридриха Клейна, явный и тайный, служащий и преступник, отец семейства и убийца.

Но в жизни он тогда всегда был на стороне «лучшей» части своего «я», на стороне добропорядочного человека и служащего, супруга и благонамеренного гражданина. Тайного мнения своей души он никогда не одобрял, он даже

не знал его. И все-таки этот внутренний голос незаметно управлял им и в конце концов сделал отщепенцем и беглецом!

Он благодарно удерживал эту мысль. Тут была все же какая-то последовательность, было что-то разумное. Этого было еще недостаточно, все важное оставалось еще темным, но какая-то ясность, какая-то правда все-таки получилась. А в правде-то как раз и было все дело. Только бы не потерять снова короткий конец нити!

Дрожа от усталости между бодрствованием и дремотой, все время на рубеже между мыслью и снами, он сотни раз терял эту нить, сотни раз находил ее снова — пока не наступил день и в окно не грянул уличный шум.

2

До полудня Клейн слонялся по городу. Он очутился перед гостиницей, сад которой ему понравился, зашел туда, посмотрел комнаты и снял номер. Лишь уходя, он поинтересовался названием отеля и прочитал: гостиница «Континенталь»! Разве не было знакомо ему это название? Не было ему предсказано? Так же, как и гостиница «Милано»? Но вскоре он прекратил поиски и успокоился в этой атмосфере чужеземности, игры

и странной значительности, в которую, кажется, угодила его жизнь.

Вчерашнее очарование постепенно вернулось. Очень хорошо, что он на юге, думал он благодарно. Его вела хорошая рука. Если бы не это, если бы не было кругом этого милого очарования, если бы нельзя было так спокойно бродить, забыв о себе, он час за часом угнетался бы мыслями и впал бы в отчаянье. А так ему удавалось часами пребывать в приятной усталости, не угнетаясь, без страха, без мыслей. Это действовало на него благотворно. Очень хорошо, что существовал этот юг и что он предписал его себе. Юг облегчал жизнь. Он утешал. Он одурманивал.

Даже сейчас, средь бела дня, пейзаж казался неправдоподобным и фантастическим, горы были сплошь слишком близки, слишком круты, слишком высоки, словно их выдумал какой-то чудаковатый живописец. Но прекрасно было все близкое и маленькое: дерево, кусок берега, дом, выкрашенный в какие-нибудь прекрасные веселые краски, стена сада, узкая полоска пшеницы под виноградными лозами, маленькая и ухоженная, как садик при доме. Все это было мило и приветливо, весело и радушно, дышало здоровьем и доверием. Этот маленький, привет-

ливый, уютный край с его спокойно-веселыми людьми можно было полюбить. Возможность что-то полюбить — какое спасение!

Со страстным желанием забыть и потеряться убегавший от притаившихся страхов страдалец увлеченно плыл по незнакомому миру. Он вышел за город, в прелестные, прилежно возделанные угодья. Они напомнили ему не деревню и не крестьян его родины, а Гомера и римлян, он нашел здесь что-то древнее, полное культуры и одновременно первобытное, невинность и зрелость, которых у Севера нет. Цветные, часто ветхие, почти сплошь украшенные благодаря детям полевыми цветами часовенки и фигурки, поставленные в честь святых при дорогах, имели, казалось ему, тот же смысл и были рождены тем же духом, что многочисленные капища и святилища древних, которые в каждой роще, в каждом роднике, в каждой горе чтили какое-нибудь божество и веселая религиозность которых благоухала хлебом, вином и здоровьем. Он вернулся в город, ходил под гулкими аркадами, уставая от грубых булыжных мостовых, заглядывал в открытые лавки и мастерские, покупал, не собираясь читать их, итальянские газеты и наконец, совсем усталый, оказался в великолепном

парке у озера. Здесь прогуливались и сидели на скамейках, читая, курортники, и ветки старых исполинских деревьев, словно бы влюбленных в свои отражения, висели над черно-зеленой водой темными сводами. Неправдоподобные растения, змеиные крушины и скумпии, пробковые дубы и другие диковинки то дерзко, то робко, то грустно торчали на покрытом цветами лугу, а у дальних берегов по ту сторону озера плавали светлыми, белыми и розовыми пятнами деревни и дачи.

Когда он, рухнув на скамью, уже задремывал, его резко разбудили чьи-то твердые, упругие шаги. В высоких красновато-коричневых ботинках на шнурках, в короткой юбке над тонкими ажурными чулками, мимо прошла женщина, девушка, прошла крепкой, уверенной, очень прямой и вызывающей походкой, элегантная, надменная, с холодным лицом, накрашенными губами и высокой пышной прической светлой, металлической желтизны. Взгляд ее мельком упал на него, наметанный, оценивающий, как взгляды портье и боя в гостинице, и равнодушно последовал дальше.

Конечно, подумал Клейн, она права, я не тот человек, на которого обращают внимание. На нашего брата такие не заглядываются. Одна-

ко холодная мимолетность ее взгляда втайне уязвила его, у него возникло ощущение, что им пренебрегают, его презирают, видя только поверхность, только внешнюю сторону, и из глубин его прошлого у него вздыбились иглы и шипы, чтобы от нее защититься. Уже было забыто, что ее изящный, ее одушевленный ботинок, ее такая упругая и уверенная походка, ее тугая нога в тонком шелковом чулке на миг пленили его и осчастливили. Исчез шелест ее платья и слабый аромат, напоминавший об ее волосах и ее коже. Отметено, отринуто было прелестное дуновенье пола и возможной любви, которым она коснулась его. Вместо этого пришли во множестве воспоминания. Как часто он видел такие созданья, таких молодых, уверенных и наглых особ, гулящих девок или светских львиц, как часто злила его их бесстыдная наглость, раздражала их уверенность, отвращало их грубое, холодное кокетство! Сколько раз он, бывало, на прогулках и в городских ресторанах всей душой разделял возмущение своей жены такими неженственными и распутными созданьями!

Он угрюмо вытянул ноги. Эта баба испортила ему хорошее настроение! Он чувствовал досаду, раздраженье, обиду, он знал: если эта желтоволо-

сая еще раз пройдет мимо и еще раз взглянет на него, он покраснеет и покажется себе — в своей одежде, в своей шляпе, в своих башмаках, со своим лицом, волосами и бородой — недотепой и ублюдком! Черт бы ее побрал! Одни только эти желтые волосы чего стоят. Они фальшивые, таких желтых волос не существует в природе. И накрашена она тоже. Как может человек дойти до того, чтобы красить губы — совсем по-дикарски! И подобные существа расхаживают так, словно им принадлежит мир, держатся уверенно, нагло и отравляют всякую радость порядочным людям.

Со вновь вскипевшими чувствами отвращения, досады и скованности снова нахлынуло прошлое, и вдруг он спохватился: ты же ссылаешься на жену, ты же признаешь ее правоту, ты опять подчиняешься ей! На миг его охватило чувство: я дурак, что все еще причисляю себя к «порядочным людям», я ведь уже не такой, я, как и эта желтая, принадлежу к миру совсем иному, чем прежний мой мир, никак не порядочному, к миру, где порядочность и непорядочность ничего не значат, где каждый живет своей трудной жизнью. На миг он почувствовал, что его презрение к желтой так же поверхностно и неискренне, как некогда его возмущение учителем-убийцей

Вагнером и его неприязнь к другому Вагнеру, чью музыку он когда-то находил слишком бурной. На секунду его контуженное сознание, его потерянное «я» открыло ему, что всякое возмущение, всякая досада, всякое презрение — ошибка, ребячество и бьют рикошетом по самому презирающему.

Это доброе, всезнающее сознание сказало ему также, что он тут снова стоит перед тайной, разгадка которой важна для его жизни, что эта гулящая девица или светская дама, этот аромат изящества, соблазна и пола вовсе не противны ему и не оскорбительны, что он только внушил, только вдолбил себе это в голову из страха перед своим подлинным естеством, из страха перед Вагнером, из страха перед зверем или бесом, которого он открыл бы в себе, если бы сбросил с себя оковы и маски мещанских приличий. В нем молнией встрепенулось что-то похожее на смех, на глумливый смех, но тут же затихло. Он снова победил неприятное чувство. Было жутко от безошибочности, с которой каждое пробуждение, каждая мысль ударяли его именно туда, где он был слаб и способен только на муки. И вот он снова на том же месте, перед лицом своей неудавшейся жизни, своей жены, своего преступления,

своего безнадежного будущего. Вернулся страх, всезнающее «я» потонуло, как стон, которого никто не услышал. О, что за мука! Нет, желтая в этом не виновата. И от всего, что он против нее испытывает, ей-то не больно, все это ударяет лишь по нему самому.

Он встал и быстро зашагал. Раньше он часто думал, что живет довольно одиноко, и, не без тщеславия приписывая себе некую философию довольства малым, слыл и среди сослуживцев ученым, книжником и тайным эстетом. Господи, да ведь он никогда не был одинок! Он разговаривал с сослуживцами, женой, детьми, с самыми разными людьми, и за этим проходил день, и заботы становились терпимее. А если он и бывал один, то это не было одиночество. Он разделял мнения, страхи, радости, утешения многих, целого мира. Всегда вокруг него, да и внутри его, было что-то общее, и, даже оставаясь один, в страданье, в унынии, он всегда принадлежал к какой-то массе, к какому-то защищающему союзу, к миру благопристойных, добропорядочных и честных. А теперь, теперь он узнал вкус одиночества. Каждая стрела попадала в него самого, каждый утешительный довод оказывался бессмысленным, каждое бегство от страха приводило только

в тот мир, с которым он расплевался, который для него рассыпался и пропал. Все, что всю его жизнь было хорошим и правильным, теперь перестало быть таковым. Все надо добывать из себя самого, никто ему не поможет. А что он находит в себе самом? Увы, неразбериху и смуту!

Автомобиль, от которого он посторонился, отвлек его мысли, дал им новую пищу; он почувствовал в невыспавшейся голове пустоту и дурноту. «Автомобиль», — подумал он или произнес, не понимая, что это значит. И, закрыв на миг глаза от слабости, он снова увидел картину, которая показалась ему знакомой, напомнила что-то, обновила его мысли. Он увидел себя за рулем автомобиля, это был сон, однажды ему приснившийся. В том чувстве, с каким он во сне столкнул водителя и сам завладел рулем, было что-то похожее на освобождение и торжество. Там было где-то какое-то утешение. Трудно найти где, но было. Была, пусть лишь в воображении или во сне, отрадная возможность вести свою машину совершенно самостоятельно, с презрительным смехом сбрасывая с сиденья любого другого водителя, и даже если машина при этом вихляла, наезжала на тротуар, на дома или на людей, то это было все-таки восхитительно, куда

лучше, чем ехать в безопасности по чужой воле и вечно оставаться младенцем.

Младенцем! Он усмехнулся. Ему подумалось, что в младенчестве и в юности он часто проклинал свою ненавистную фамилию Клейн. Теперь он ее уже не носил. Разве в этом не было глубокого смысла, иносказанья, символа? Он больше не маленький[2], не младенец и не даст собой управлять.

В гостинице он выпил за обедом хорошего легкого вина, которое заказал наудачу и название которого запомнил. Немного на свете вещей, способных помочь, утешить, облегчить жизнь; знать эти немногочисленные вещи важно. Это вино — такая вещь, и южный воздух, и южный пейзаж — тоже. Что еще? Есть ли еще что-нибудь? Да, размышление — это тоже такая отрадная вещь, которая утешает и помогает жить. Но не всякое размышление. О нет, есть такое размышление, что это сущая мука, сущее безумие. Есть размышление, которое мучительно роется в одном и том же и ни к чему, кроме тошноты, страха и отвращения к жизни, не приводит. Надо искать другое размышление, надо учиться другому раз-

---

[2] notes: 2
По-немецки «клейн» (klein) значит «маленький».

мышлению. Размышление ли оно вообще? Это состояние, расположение духа, которое всегда длится лишь какие-то мгновения и от усилия размышлять только пропадает. В этом вожделенном состоянии приходят озарения, воспоминания, видения, фантазии, знания особого рода. Мысль (или сон) об автомобиле принадлежит к этому роду, к этому славному и отрадному роду, как и внезапное воспоминание об убийце Вагнере и о том разговоре, который он вел по его поводу много лет назад. Странное озарение насчет фамилии Клейн тоже такого рода. При этих мыслях, при этих озарениях страх и мерзкое недомогание на какой-то миг сменяются вспыхивающей вдруг уверенностью — тогда кажется, что все хорошо, одиночество становится сильным и гордым, прошлое преодоленным, грядущее не ужасает тебя.

Это надо еще осмыслить, понять, этому надо научиться! Он спасен, если ему удастся часто находить в себе мысли этого рода, пестовать их в себе и вызывать. И он все думал и думал. Он не помнил, как провел вторую половину дня, эти часы растаяли у него как во сне, а может быть, он и вправду спал, кто знает. Все время мысли его кружили вокруг той тайны. Он очень много и упорно размышлял о своей встрече с желтой. Что

она означала? Как получилось, что эта мимолетная встреча, этот мгновенный обмен взглядами с незнакомой, красивой, но не симпатичной ему женщиной стали для него на долгие часы источником мыслей, чувств, волнений, воспоминаний, самоистязательства, обвинений? Как это получилось? У других тоже так? Почему фигура, походка, нога, ботинок и чулок желтой на миг обворожили его? Почему потом ее холодно оценивающий взгляд так отрезвил? Почему этот неприятный взгляд не просто отрезвил его и вывел из состояния короткой эротической очарованности, а обидел, возмутил и унизил перед самим собой? Почему против этого взгляда он выставил слова и воспоминания, сплошь принадлежавшие его прежнему миру? Слова, уже потерявшие смысл, доводы, в которые сам больше не верил? Он мобилизовал против этой желтой особы и ее досадного взгляда суждения своей жены, слова своих сослуживцев, мысли и мнения своего прежнего «я», не существующего уже гражданина и служащего Клейна, он пожелал отстоять себя перед этим взглядом всеми возможными средствами и вынужден был признать, что его средства — это сплошь старые монеты, уже недействительные. И все эти нудные резоны ничего не принесли

ему, кроме подавленности, тревоги и тоскливого чувства собственной неправоты! Но на миг он вновь ощутил то другое, желанное состояние, один миг он как бы качал головой по поводу всех этих нудных резонов и был умнее. Одну секунду он был умнее, он знал: мои мысли об этой желтой глупы и недостойны. Судьба играет ею так же, как мною. Бог любит ее, как любит меня.

Откуда донесся этот милый голос? Как найти его снова, как приманить, на какой ветке сидела эта редкая, пугливая птица? Этот голос говорил правду, а правда была благодеянием, исцелением, прибежищем. Этот голос появлялся, когда ты бывал внутренне согласен с судьбой и любил себя сам; то был голос бога или голос собственного, самого истинного, самого сокровенного «я», по ту сторону всякой лжи, всяких оправданий и комедий.

Почему он слышал этот голос не всегда? Почему правда всегда пролетала мимо него, как призрак, который можно мельком увидеть только вполглаза и который исчезает, если глядеть на него во все глаза? Почему он снова и снова видел открытой эту дверь к счастью, а когда он хотел войти в нее, она оказывалась запертой?!

Очнувшись у себя в номере от дремоты, он

потянулся к томику Шопенгауэра, лежавшему на тумбочке и обычно сопровождавшему его в поездках. Он раскрыл книгу наугад и прочел: «Озираясь на пройденный путь, особенно же присматриваясь к своим злосчастным шагам и их последствиям, мы часто не понимаем, как могли мы сделать то-то или не сделать того-то; сдается, будто наши шаги направляла посторонняя сила. Гёте говорит в «Эгмонте»: «Человек думает, что сам творит свою жизнь, что им руководит собственная воля, а на деле сокровенные силы, в нем заложенные, неудержимо ведут его навстречу его судьбе»[3]. Не содержалось ли в этих словах чего-то, что касалось его? Что было тесно и глубоко связано с его сегодняшними мыслями?.. Он стал жадно читать дальше, но ничего больше не выходило, дальнейшие строки и фразы его не задевали. Он положил книгу, взглянул на карманные часы, обнаружил, что они не заведены и остановились, встал, посмотрел в окно, дело шло, по-видимому, к вечеру.

Он почувствовал себя несколько утомленным, как после большого умственного усилия, но не измотанным без толку, а уставшим с пользой, как

---

[3] notes: 3
Гёте. Собр. соч. в десяти томах. М., 1977, т. 4, стр. 339.

после удачной работы. Я проспал, должно быть, час или больше, подумал он, подходя к зеркальному шкафу, чтобы пригладить щеткой волосы. На душе у него было на редкость вольно и славно, и в зеркале он увидел себя улыбающимся. На его бледном, переутомленном лице, которое он давно видел только искаженным, окаменевшим, безумным, играла мягкая, приветливая, добрая улыбка. Он удивленно покачал головой и улыбнулся себе самому.

Он сошел вниз, в ресторане за некоторыми столиками уже ужинали. Разве он не ел только что? Все равно, ему опять очень захотелось есть, и, с интересом расспрашивая официанта, он заказал обильный ужин.

— Не угодно ли сударю съездить сегодня вечером в Кастильоне? — спросил официант, накрывая на стол. — От гостиницы пойдет катер.

Клейн поблагодарил, покачав головой. Нет, такие гостиничные мероприятия не для него… Кастильоне? Он уже слышал об этом. Какое-то увеселительное местечко с игорным домом, что-то вроде маленького Монте-Карло. Господи, что ему там делать?

Когда подавали кофе, он вынул из букета, стоявшего перед ним в хрустальной вазе, маленькую

белую розу и сунул ее себе в петлицу. От соседнего столика до него донесся дым раскуриваемой сигары. Верно, хорошей сигары ему тоже хочется.

Затем он в нерешительности побродил перед отелем. Он не прочь был снова отправиться в ту сельскую местность, где вчера вечером, услышав, как поет итальянка, и увидев, как искрами кружатся светляки в магическом танце, впервые ощутил сладостную реальность. Но его тянуло и в парк, к тихой воде в тени листвы, к диковинным деревьям, и встреть он снова ту особу с желтыми волосами, ее холодный взгляд теперь не рассердил бы и не смутил бы его. Кстати — как невообразимо давно было вчера! Как освоился он уже на этом юге! Сколько пережил, передумал, узнал!

Он прошел целую улицу, и его омывал славный, ласковый ветер летнего вечера. Вокруг только что зажегшихся фонарей страстно кружили ночные бабочки, рачительные хозяева поздно закрывали свои лавки, стуча по ставням железными брусьями, множество детей еще не угомонилось и бегало, играя, между столиками кафе, за которыми прямо на улице люди пили кофе и прохладительные напитки. В нише стены в мерцанье свечей улыбалась Мадонна. И на

скамейках у озера тоже шла еще жизнь, там смеялись, спорили, пели, а на воде еще там и сям были лодки с гребцами без пиджаков и девушками в белых блузках.

Клейн легко нашел дорогу к парку, но высокие ворота оказались заперты. За высокими железными брусьями стояла немая темень деревьев, чужая и полная уже ночи и сна. Он долго смотрел туда. Потом улыбнулся и только теперь отдал себе отчет в тайном желании, которое привело его сюда, к запертым воротам. Что ж, какая разница, можно и без парка.

Спокойно сидя на скамейке у озера, он глядел на прохожих. Развернув при ярком свете фонаря итальянскую газету, он попытался читать. Он не все понимал, но каждая фраза, которую удавалось перевести, доставляла ему удовольствие. Лишь постепенно начал он следить за смыслом, не задерживаясь на грамматике, и не без удивления обнаружил, что статья, которую он читал, жестоко ругает его народ и его отечество. Как странно, подумал он, все это еще существует! Итальянцы писали о его народе в точности так же, как отечественные газеты всегда писали об Италии, так же осуждающе, так же возмущенно, с такой же непоколебимой уверенностью в собственной правоте

и чужой неправоте! Ведь и то, что эта газета с ее ненавистью и хулой не смогла ни возмутить, ни рассердить его, было странно. Или не было странно? В самом деле, зачем возмущаться? Ведь все это был стиль и язык мира, к которому он уже не принадлежал. Пускай это был хороший, лучший, правильный мир — это не был уже его мир.

Он оставил газету на скамейке и пошел дальше. Из какого-то сада светились над кустами роз сотни разноцветных огней. Люди входили туда, он присоединился. Касса, служитель, стенд с плакатами. Среди сада был зал без стен, одна только большая шатровая крыша, где и висели все эти бесчисленные разноцветные лампочки. Множество наполовину занятых столиков наполняло этот открытый воздуху зал; в глубине яркими красками, серебряной, зеленой и розовой, ослепительно сверкала узенькая эстрада. Под нею сидели музыканты, небольшой оркестр, легко и чисто дышала в разноцветной ночи флейта, глубоко и мощно дышал гобой, глухо, робко и тепло пела виолончель. Над ними, на эстраде, пел комические песенки какой-то старик, его накрашенный рот неподвижно смеялся, в его голой печальной голове, как в зеркале, отражалось буйство огней.

Ничего подобного Клейн не искал, на миг он почувствовал что-то вроде разочарования, критического недовольства, старого страха перед сидением в одиночестве среди веселой и нарядной толпы; искусственная праздничность, казалось ему, не подходила к душистому вечернему саду. Однако он сел, и свет, струившийся из множества пестрых неярких лампочек, вскоре умиротворил его, окутав как бы волшебным флером этот открытый зал. Нежно и проникновенно лилась негромкая музыка, смешиваясь с ароматом множества роз. Довольные, принаряженные, полные сдержанного веселья люди сидели кругом, прелестно припудренные мягким цветным светом, плавали над чашками, бутылками и вазочками с мороженым светлые лица и переливчатые дамские шляпы, и даже розовое и желтое мороженое в вазочках, даже бокалы с красными, зелеными, желтыми напитками, даже они вписывались в эту картину праздничными драгоценностями. Никто не слушал комика. Отрешенно и одиноко стоял этот убогий старик на своей эстраде и пел заученное, великолепный свет стекал вниз с его бедной фигуры. Он закончил свой номер и был, казалось, доволен, что можно уйти. За передними столиками похлопали два-три человека. Певец

удалился, но вскоре вошел в зал через сад и сел за один из ближайших к оркестру столиков. Какая-то молодая дама налила ему в бокал содовой, приподнявшись при этом, и Клейн взглянул на нее. Это была желтоволосая.

Откуда-то пронзительно, настойчиво и протяжно зазвенел длинный звонок, в зале зашевелились. Многие вышли без шляп и пальто. Опустел и столик возле оркестра, желтая ушла вместе с другими, ее волосы помелькали светлым пятном в сумраке сада. За столиком остался только старик певец.

Клейн заставил себя подняться и направился к нему. Он вежливо поздоровался со стариком, тот только кивнул.

— Не скажете ли вы, что означает этот звонок? — спросил Клейн.

— Перерыв, — сказал комик.

— А куда все пошли?

— Играть. Перерыв на полчаса, и пока можно поиграть в курзале.

— Спасибо… Я не знал, что здесь есть и казино.

— Ерундовое. Детская забавка, высшая ставка — пять франков.

— Большое спасибо.

Он уже снова приподнял шляпу и повернулся.

Но тут его осенило, что старика можно спросить насчет желтой. Тот знал ее.

Он помедлил, еще держа шляпу. Потом отошел. Что ему, собственно, нужно? Какое ему до нее дело? Но он чувствовал, что ему есть до нее дело. Это просто робость, какое-то безумие, какая-то скованность. В нем поднялась тихая волна недовольства, тонкое облачко. Опять надвигалась тяжесть, опять он был неловок, несвободен, зол на себя. Лучше пойти домой. Что ему делать здесь, среди веселых людей? Ему здесь не место.

Мысли его прервал официант, требовавший денег. Клейн возмутился:

— Не можете подождать, пока вас позовут?

— Простите, я думал, сударь уходит. Мне никто не возместит убытка, если гость удерет.

Он дал на чай больше, чем следовало.

Выходя из зала, он увидел, что желтая возвращается из сада. Он подождал, чтобы она прошла мимо него. Держась очень прямо, она шагала сильно и легко, как на пружинах. Ее взгляд скользнул по нему холодно, не узнав. Он увидел ее лицо при ярком свете, спокойное и умное лицо, твердое и бледное, немного надменное, увидел накрашенный алый рот, серые настороженные глаза, красивое, хорошо вылепленное ухо, в ко-

тором блеснул продолговатый зеленый камень. Она шла в белых шелках, ее стройная шея тонула в опаловых тенях, охваченная тонкой цепочкой с зелеными камешками.

Он поглядел на нее, тайно взволнованный и опять с двойственным впечатлением. Что-то в ней манило, говорило о счастье и тепле, благоухало плотью, волосами, ухоженной красотой, а что-то отталкивало, казалось неправильным, заставляло бояться разочарования. То был старый, привитый воспитанием и всю жизнь хранимый страх перед тем, что казалось ему развращенностью, перед выставляющей себя напоказ красотой, перед открытым напоминанием об отношениях полов и любовной борьбе. Он чувствовал, что эта двойственность заключена в нем самом. Вот опять Вагнер, вот опять мир красоты, но без дисциплины, мир прелести, но без скрытности, без робости, без нечистой совести. В нем сидел враг, который не пускал его в рай.

Служители переставили столики, освободив середину зала. Часть гостей не вернулась.

«Остаться!» — крикнуло желание в одиноком пришельце. Он знал заранее, какая предстоит ему ночь, если он сейчас удалится. Такая же, как прошлая, а то и похуже. Мало сна, скверные

сны, безнадежность и самоистязание, вдобавок вопль чувственности, мысль о цепочке зеленых камней на белой и жемчужной женской груди. Может быть, он скоро уже, скоро уже дойдет до точки, когда жизнь станет невыносима. А он ведь привязан к жизни, как ни странно. Привязан ли в самом деле? Да разве иначе был бы он здесь? Разве ушел бы он от жены, сжег бы за собой корабли, заварил бы всю эту кашу, подрубил бы сук, на котором сидел, разве махнул бы на этот юг, если бы не был привязан к жизни, если бы в нем не было желаний и будущего? Разве он не почувствовал этого сегодня, ясно и великолепно, за хорошим вином, перед запертыми воротами парка, на скамейке на набережной?

Он остался и нашел место за столиком рядом с тем, где сидели певец и желтая. Там собрались шесть-семь человек, явно своих здесь, составлявших как бы часть этого увеселительного предприятия. Он то и дело на них поглядывал, между ними и завсегдатаями этого сада были фамильярные отношения, оркестранты тоже знали их и время от времени подходили к их столику или громко шутили с ними, да и те обращались к официантам на «ты» и по имени. Говорили наперебой по-немецки, по-итальянски

и по-французски.

Клейн наблюдал за желтой. Она оставалась строгой и холодной, он еще ни разу не видел ее улыбающейся, ее спокойное лицо казалось неспособным меняться. Он видел, что за своим столиком она что-то значила, в том, как держались с нею мужчины и девушки, чувствовалось товарищеское уважение к ней. Он услыхал и ее имя: Терезина. Он задумался, красива ли она, нравится ли она ему, в сущности. Он не мог это определить. Красивы были несомненно ее фигура и ее походка, даже необыкновенно красивы, ее манера сидеть и движения ее очень ухоженных рук. Но в ее лице, в ее взгляде его занимали и раздражали тихая холодность, уверенность и спокойствие, неподвижность чуть ли не маски. Она выглядела как человек со своим собственным раем и своим собственным адом, которых с ним никто не разделит. И в этой душе, казавшейся довольно-таки жесткой и неприступной, возможно, гордой, даже злой, — в этой душе тоже наверняка горели желание и страсть. Какие чувства она ищет и любит, от каких бежит? В чем ее слабости, ее страхи, ее тайны? Как выглядит она, когда смеется, когда спит, когда плачет, когда целует?

И как это получилось, что она уже полдня зани-

мает его мысли, что он наблюдает за ней, изучает ее, боится ее, сердится на нее, хотя даже не знает, нравится ли она ему или нет.

Может быть, она его цель и судьба? Не влечет ли его к ней та же тайная сила, что повлекла его на юг? Какой-то инстинкт, какая-то линия судьбы, какой-то пожизненный безотчетный порыв? Не предназначена ли ему встреча с ней? Не написана ли ему на роду?

Напряженно прислушавшись, он выловил обрывок ее речи из многоголосого гомона. Он услышал, как она сказала какому-то смазливому гибкому юнцу с черными кудрями и гладким лицом:

— Мне хочется еще разок поиграть по-настоящему, не здесь, не на шоколадки, а в Кастильоне или в Монте-Карло. — И потом, когда тот что-то ответил, еще раз: — Нет, вы просто не знаете, каково это! Это, может быть, гнусно, может быть, неумно, но это захватывает.

Теперь он кое-что знал о ней. Он был доволен, что подстерег и подслушал ее. Через маленькое освещенное оконце умудрился он, чужеземец и посторонний, на миг, как лазутчик, заглянуть в ее душу. У нее есть желания. Ее мучит потребность в чем-то волнующем и опасном, в чем-то таком,

из-за чего можно пропасть. Ему было приятно знать это… А как насчет Кастильоне? Не слышал ли он сегодня уже однажды об этом? Когда? Где?

Все равно, сейчас он не в состоянии думать. Но сейчас у него опять, как не раз уже в эти странные дни, появилось чувство, что все, что он делает, слышит, видит и думает, полно смысла и необходимо, что его ведет чья-то рука, что какие-то длинные, далекие ряды причин приносят плоды. Вот и хорошо, пускай приносят.

Его опять охватило чувство счастья, чувство душевного покоя и уверенности, восхитительное для того, кто знает страх и ужас. Он вспомнил одно замечание, услышанное им в детстве. Они, школьники, говорили между собой о том, как ухитряются канатоходцы так уверенно и бесстрашно ходить по канату. И кто-то сказал:

— Если провести мелом черту по полу, идти точно по этой черте так же трудно, как по самому тонкому канату. И все же ты по ней преспокойно проходишь, потому что тут нет никакой опасности. Если ты представишь себе, что перед тобой просто проведенная мелом черта, а воздух — это пол, ты уверенно пройдешь по любому канату.

Это он сейчас вспомнил. Какие прекрасные слова! А разве у него не все наоборот? Он ведь и по

самому ровному полу не может пройти уверенно и спокойно — не потому ли, что принимает его за канат?

Он был страшно рад, что ему приходят в голову такие отрадные вещи, что они дремлют в нем и время от времени выходят на свет. Внутри себя носишь все, что имеет какое-то значение, никто со стороны не может тебе помочь. Не быть на ножах с самим собой, жить с самим собой в любви и доверии — и тогда сможешь все. Тогда сможешь не только ходить по канату, а и летать.

Забыв все окружающее, пробираясь по мягким, скользким тропам души, как охотник и следопыт, за этими мыслями, он склонился над столиком. В эту минуту желтая взглянула в ту сторону и поглядела на него. Взгляд ее задержался на нем ненадолго, но вник в его лицо, и когда Клейн, заметив это, тоже взглянул на нее, он почувствовал что-то похожее на уважение, на участие и на родство. На этот раз ее взгляд не причинил ему боли, не обидел его. На этот раз, почувствовал он, она видела его, его самого, не его одежду и манеры, не его прическу и руки, а все настоящее, неизменное, таинственное в нем, все неповторимое, божественное, судьбу.

Он мысленно попросил у нее прощения за свои

недавние горькие и скверные мысли о ней. Но нет, тут не за что было просить прощения. Все его злые и глупые мысли и чувства, направленные против нее, били по нему самому, не по ней. Нет, все было хорошо.

Вдруг его испугало возобновление музыки. Оркестр заиграл какой-то танец. Но эстрада оставалась пустой и темной, взгляды гостей были направлены не на нее, а на пустой четырехугольник между столиками. Он догадался, что начинаются танцы.

Вскинув глаза, он увидел, что у соседнего столика поднимаются желтая и юный безусый щеголь. Он усмехнулся над собой, заметив, что и против этого юнца у него что-то есть, что он, Клейн, лишь нехотя признает его изящество, приятность его манер, красоту его волос и лица. Юнец подал ей руку, отвел ее на площадку, появилась еще одна пара, и вот обе пары стали изящно, уверенно и красиво танцевать танго. Клейн мало в этом смыслил, но скоро увидел, что танцует Терезина великолепно. Он видел: она делает что-то, в чем знает толк и в чем она мастерица, что заложено в ней и естественно из нее выходит. Чернокудрый юнец тоже танцевал хорошо, они подходили друг другу. Их танец рассказывал зрителям сплошь

приятные, ясные, простые и славные вещи. Легко и нежно лежала рука в руке, с готовностью и радостью выполняли дышавшую нежностью и силой работу их колени, руки, ступни, тела. Их танец выражал счастье и радость, красоту и роскошь, сладость жизни и умение жить. Он выражал также половую любовь, но не буйную, не пылкую, а любовь, полную естественности, наивности и прелести. Они танцем показывали богатым людям, курортникам все прекрасное, что было в их жизни и что те сами не могли выразить и без такой помощи даже почувствовать. Эти оплачиваемые, обученные танцоры служили хорошему обществу некоей заменой. Они, которые сами так хорошо и складно не танцевали, которые не могли по-настоящему наслаждаться приятным баловством своей жизни, заставляли этих людей показывать себе танцем, как хорошо им живется. Но это еще не все. Они не только заставляли кого-то разыгрывать перед собой легкость и веселое самодовольство жизни, им еще вдобавок напоминали о природе, о невинности чувств и органов чувств. Из своей суматошной и сверхзанятой или, наоборот, ленивой и пресыщенной жизни, мечущейся между неистовой работой, неистовыми наслаждениями и вынуж-

денным санаторным покаянием, они глупо, с улыбкой и тайной растроганностью взирали на танец этих красивых и ловких молодых людей как на прекрасную весну жизни, как на далекий, потерянный рай, о котором только рассказывают детям по праздникам, в который уже почти не верят, но который кажется пределом желаний и снится ночами.

Во время танца лицо желтоволосой менялось, и Фридрих Клейн глядел на это с чистым восторгом. Очень постепенно и незаметно, как розовая полоска на утреннем небе, появилась на ее строгом, холодном лице медленно выросшая, медленно согревшаяся улыбка. Глядя прямо вперед, она улыбалась, как бы проснувшись, так, словно только благодаря танцу она, холодная, согрелась и полностью ожила. Улыбался и партнер, улыбалась и вторая пара, и на всех четырех лицах улыбки были удивительно прекрасны, хотя и напоминали маски своей безличностью, — но у Терезины улыбка была прекраснее и таинственнее, чем у всех, никто не улыбался так, как она, так безучастно ко внешнему миру, так светясь изнутри от собственной радости. Клейн глядел на это с глубокой растроганностью, с таким волнением, словно открыл некое потайное сокровище.

— Какие замечательные у нее волосы! — услышал он чей-то тихий возглас поблизости. Он подумал, что сам-то он ругал и находил сомнительными эти замечательные светло-желтые волосы.

Танго кончилось. Клейн видел, как Терезина стояла теперь рядом с партнером, еще державшим пальцами ее левую руку на высоте плеча, видел, как догорал, медленно угасая, этот волшебный свет на ее лице. Раздались негромкие хлопки, и все провожали взглядами обоих танцоров, когда они легким шагом возвращались к своему столику.

Следующий танец, начавшийся после короткого перерыва, исполняла только одна пара, Терезина и ее красивый партнер. Это была вольная фантазия, маленькая композиция, почти пантомима, которую каждый танцор играл самостоятельно и которая лишь в нескольких сверкающих кульминациях и в стремительном заключении перешла в парный танец.

С полными счастья глазами Терезина парила так вольно и самозабвенно, ее невесомое тело отвечало призывам музыки с таким блаженством, что в зале сделалось тихо и все только на нее и глядели. Танец закончился вихревым кружени-

ем, при котором партнер и партнерша касались друг друга лишь ладонями и носками и, низко запрокинув головы, вертелись юлой.

Во время этого танца у всех было такое ощущение, что, жестикулируя и двигаясь, разъединяясь и вновь соединяясь, то и дело теряя и вновь обретая равновесие, оба танцора изображали чувства, всем знакомые и для всех желанные, но которые лишь немногим счастливцам дано испытать так просто, с такой силой и полнотой: радость здорового человека от самого себя, возрастание этой радости в любви к другому, готовность доверчиво отдаться желаниям, мечтам и играм сердца. Многие на миг задумались и загрустили о том, что между их жизнью и их порывами царят разлад и раздор, что их жизнь — не танец, а изнемогание под тяжестями, тяжестями, которые они взвалили на себя, в сущности, сами.

Следя за танцем, Фридрих Клейн глядел сквозь множество прожитых лет, как сквозь темный туннель, и по ту сторону, на солнце и на ветру, зеленым сияющим миром виднелось утраченное: молодость, сильные простые чувства, доверчивая готовность к счастью, — и все это оказалось опять странно близко, рукой подать, было приближено и отражено волшебством.

Еще сохраняя на лице проникновенную улыбку танца, прошла мимо него Терезина. Его пронзила радость, объял восторг. И, словно он позвал ее, она вдруг проникновенно на него посмотрела, еще не проснувшаяся, еще полная счастья в душе, еще с этой прекрасной улыбкой на губах. И он тоже улыбнулся ей, близкому сиянию счастья, сквозь темный туннель стольких потерянных лет.

Одновременно он встал и протянул ей руку, как старый друг, не говоря ни слова. Танцорка взяла ее и на миг задержала не останавливаясь. Он пошел за ней. За столиком артистов его усадили, теперь он сидел рядом с Терезиной и видел, как мерцают на светлой коже ее шеи продолговатые зеленые камни.

Он не участвовал в разговорах, которых почти не понимал. За головой Терезины он видел, в более ярком свете садовых фонарей, цветущие кусты роз — темные полные шары, четко очерченные, с летавшими вокруг них светляками. Мысли его отдыхали, думать было не о чем. Шары роз покачивались от ночного ветра, Терезина сидела рядом с ним, в ухе у нее висел, поблескивая, зеленый камень. Мир был в порядке.

Теперь Терезина положила руку ему на рукав.

— Мы поговорим. Не здесь. Я вспомнила, что

видела вас в парке. Я буду завтра там, в то же время. Сейчас я устала и скоро пойду спать. Лучше уйдите раньше, а то мои товарищи попросят у вас денег взаймы.

Она задержала проходившего мимо официанта:

— Эудженио, сударь хочет расплатиться.

Клейн расплатился, пожал ей руку, раскланялся и ушел — к озеру, куда-нибудь. Немыслимо было сейчас вернуться в свой номер и лечь. Удаляясь вдоль озера от городка и предместий, он шел до тех пор, пока не кончились скамейки на берегу и сады. Потом он сел на парапет набережной и напевал про себя, без голоса, отрывки из забытых песен времен своей юности, пока не похолодало и обрывистые горы не сделались какими-то враждебно чужими. Тут он пошел обратно, со шляпой в руке.

Дверь ему открыл сонный ночной портье.

— Да, я запоздал, — сказал Клейн и дал ему франк.

— О, нам не привыкать. Вы еще не последний. Катер из Кастильоне тоже еще не вернулся.

3

Танцорка была уже на месте, когда Клейн пришел в парк. Она пружинящим шагом ходила по саду вокруг газонов и вдруг очутилась перед ним у тенистого входа в какую-то рощицу.

Терезина внимательно осмотрела его своими светло-серыми глазами, лицо ее было серьезно и немного нетерпеливо. Сразу же на ходу она начала говорить:

— Вы можете мне объяснить, как это вчера вышло? Как получилось, что мы так сталкивались? Я думала об этом. Вчера я видела вас в саду курзала два раза. Первый раз вы стояли у выхода и посмотрели на меня, вид у вас был скучающий или недовольный, и, увидев вас, я вспомнила: этот мне уже попадался в парке. Впечатление было неважное, и я постаралась тут же забыть вас. Потом я увидела вас опять, не далее как через четверть часа. Вы сидели за соседним столиком, и вид у вас оказался вдруг совсем другой, я не сразу заметила, что вы — тот самый, который попадался мне прежде. А потом, после моего танца, вы вдруг очутились передо мной и держали меня за руку, или я вас, я уж не помню. Как это вышло? Вы-то, наверно, что-то знаете. Надеюсь, вы при-

шли не затем, чтобы объясниться мне в любви?

Она повелительно взглянула на него.

— Не знаю, — сказал Клейн. — Я пришел без определенных намерений. Я люблю вас со вчерашнего дня, но об этом нам ведь незачем говорить.

— Да, поговорим о другом. Вчера между нами в какой-то миг было что-то, что меня заинтересовало и испугало, словно у нас оказалось вдруг что-то схожее или общее. Что это такое? И главное — что это за перемена произошла с вами? Как это получилось, что в течение одного часа у вас было два совершенно разных лица? У вас был вид человека, с которым случилось что-то очень важное.

— Какой у меня был вид? — спросил он по-детски.

— Ну, сперва вид пожилого, довольно брюзгливого, неприятного господина. Вид мещанина, привыкшего срывать на других злость за собственную никчемность.

Он слушал с большим интересом и энергично кивал головой. Она продолжала:

— А то, что было потом, после, описать это трудно. Вы сидели, слегка наклонившись вперед; когда вы случайно попались мне на глаза, я в

первую секунду еще подумала: господи, до чего же у этих мещан грустные позы! Вы подпирали голову рукой, и вдруг это стало выглядеть очень странно, так, будто вы — один в целом мире и вам совершенно все равно, что будет с вами и со всем миром. Ваше лицо было как маска — то ли до ужаса грустно, то ли до ужаса равнодушно…

Она запнулась, как бы ища слов, но ничего больше не сказала.

— Вы правы, — скромно сказал Клейн. — Вы увидели все так верно, что мне впору дивиться. Вы прочли меня, как письмо. Но ведь это, в сущности, естественно и правильно, что вы все это увидели.

— Почему естественно?

— Потому что, танцуя, вы чуть по-другому выражаете это же. Когда вы танцуете, Терезина, да и вообще в иные мгновенья, вы, как дерево, или гора, или животное, или звезда, совсем одиноки в мире. Вы не хотите быть никакой, кроме такой, какая вы есть, не важно, добрая ли вы или злая. Разве это не то же самое, что вы увидели во мне?

Она испытующе поглядела на него не отвечая.

— Вы странный человек, — сказала она затем нерешительно. — Так что же — вы действительно такой, каким тогда выглядели? Вам действитель-

но безразлично, что с вами будет?

— Да. Только не всегда. Часто мне бывает и страшно. Но потом опять это возвращается, и страх проходит, и тогда все небезразлично. Тогда ты силен, или, пожалуй, безразлично — не то слово, вернее сказать, все восхитительно и желанно, и будь что будет.

— В какой-то миг я даже сочла возможным, что вы — преступник.

— Это тоже возможно. Даже вероятно. Понимаете, преступник — это так говорится, а имеется в виду, что человек делает что-то такое, что другие запретили ему делать. Но ведь сам-то он, преступник, делает только то, что в нем есть… Понимаете, в этом и состоит сходство между нами: мы оба порой, в редкие мгновенья, делаем то, что в нас есть. Это величайшая редкость, большинство людей вообще этого не знает. И я тоже не знал этого, я говорил, думал, делал только чужое, только заученное, только хорошее и правильное, я жил такой заученной жизнью, пока в один прекрасный день это не кончилось. Я больше не мог, я должен был уйти прочь, хорошее перестало быть хорошим, правильное — правильным, жизнь сделалась нестерпимой. Но я хочу все-таки терпеть ее, я даже люблю ее, хотя она доставляет

столько мук.

— Может быть, вы скажете мне, как вас зовут и кто вы такой?

— Я тот, кого вы видите перед собой, и никто больше. У меня нет имени, нет звания, нет и занятия. От всего этого мне пришлось отказаться. Дело со мной обстоит так: после долгих лет добропорядочной и трудовой жизни я в один прекрасный день упал из гнезда, это случилось не так давно, и теперь мне придется либо погибнуть, либо научиться летать. До мира мне больше нет дела, я теперь совершенно один.

Немного смущенно она спросила:

— Вы не были в лечебнице?

— Сумасшедший, думаете? Нет. Хотя и это могло бы быть.

Он отвлекся. Мысли захватили его изнутри. Забеспокоившись, он добавил:

— Когда об этом говорят, даже самое простое сразу делается сложным и непонятным. Не надо нам говорить об этом!.. Ведь так поступают, ведь говорят об этом только тогда, когда не хотят это понять.

— Что вы имеете в виду? Я действительно хочу понять. Поверьте мне! Меня это очень интересует.

Он оживленно улыбнулся.

— Да, да. Вы хотите об этом побеседовать. Вы что-то узнали и теперь хотите об этом поговорить. Ах, это не поможет. Говорить — это верный путь к тому, чтобы все понять не так, сделать все плоским и скучным… Вы же не хотите понять меня, да и себя тоже! Вы хотите только сохранить спокойствие, несмотря на то что почувствовали какой-то призыв. Вы хотите отделаться от меня и от этого призыва тем, что находите рубрику, под которую можно меня подогнать. Вы берете на пробу преступника и душевнобольного, хотите знать мое положение и имя. Но все это только уводит от понимания, все это обман, милая барышня, все это плохие заменители понимания, все это скорее бегство от желания понять, от обязанности понять.

Запнувшись, он страдальчески провел рукой по глазам, затем, по-видимому, вспомнил о чем-то приятном и опять улыбнулся.

— Ах, понимаете, когда вчера вы и я в какой-то миг чувствовали совершенно одно и то же, мы ничего не говорили, ничего не спрашивали и ни о чем не думали… Мы вдруг подали руки друг другу, и это было хорошо. А сейчас… сейчас мы говорим, думаем, объясняем, и все, что было та-

ким простым, стало странным и непонятным. А ведь вам совсем легко было бы понять меня так же хорошо, как я понимаю вас.

— Вы думаете, что так хорошо меня понимаете?

— Да, конечно. Как вы живете, я не знаю. Но вы живете, как жил я, как живут все, большей частью во мраке и в разладе с собой, ради какой-то цели, какой-то обязанности, какой-то задачи. Так живут почти все люди, этим болен весь мир, от этого он и погибнет. Но иногда, например, когда вы танцуете, задача или обязанность у вас пропадает, и вы живете вдруг совершенно иначе. У вас появляется вдруг такое чувство, будто вы одна в мире или можете завтра умереть, и тогда наружу выходит все, что вы действительно собой представляете. Когда вы танцуете, вы заражаете этим других. Вот ваша тайна.

Она зашагала быстрее. На самом краю выступа над озером она остановилась.

— Вы странный человек, — сказала она. — Многое я понимаю. Но… что вам, собственно, от меня нужно?

Он опустил голову и на миг погрустнел.

— Вы привыкли, что от вас всегда чего-то хотят, Терезина, а мне не нужно от вас ничего, чего не

хотите и не рады сделать вы сами. Что я люблю вас, это вам может быть безразлично. Быть любимым не есть счастье. Каждый человек любит себя самого, и все-таки тысячи мучаются всю жизнь. Нет, быть любимым не есть счастье. Но любить — это счастье!

— Я бы с удовольствием доставила вам какую-нибудь радость, если бы могла, — сказала Терезина медленно, как бы с жалостью.

— Это вы можете, если позволите мне исполнить какое-нибудь ваше желание.

— Ах, что вы знаете о моих желаниях!

— Правда, у вас не должно бы их быть. Ведь у вас есть ключ к раю, это ваш танец. Но я знаю, что у вас все-таки есть желания, и это мне приятно. Так знайте же: вот человек, которому доставит удовольствие исполнить любое ваше желание.

Терезина задумалась. Ее зоркие глаза снова стали острыми и холодными. Что мог он знать о ней? Ничего не найдя, она начала осторожно:

— Прежде всего я попросила бы вас быть откровенным. Скажите, кто рассказывал вам что-нибудь обо мне?

— Никто. Я никогда ни с кем не говорил о вас. Что я знаю — очень немногое, — я знаю от вас самой. Я слышал, как вы вчера сказали, что вам

хочется поиграть в Кастильоне.

Ее лицо вздрогнуло.

— Ах вот как, вы подслушивали.

— Да, конечно. Я понял ваше желание. Поскольку вы не всегда в ладу с собой, вы ищете возбуждения и забвения.

— О нет, я не так романтична, как вы думаете. Не забвения ищу я в игре, а просто денег. Мне хочется разбогатеть или хотя бы пожить без забот, не продаваясь за это. Вот и все.

— Это звучит очень правдоподобно, и все-таки я этому не верю. Но как хотите! Вы же, в сущности, прекрасно знаете, что продаваться вам незачем. Не будем об этом говорить! Но если вам нужны деньги, для игры или еще для чего-нибудь, возьмите их у меня! У меня их, думаю, больше, чем мне нужно, и я не дорожу ими.

Терезина опять двинулась дальше.

— Я вас почти не знаю. Как я могу принять от вас деньги?

Он вдруг снял шляпу, словно его поразила боль, и умолк.

— Что с вами? — воскликнула Терезина.

— Ничего, ничего… Позвольте мне уйти! Мы слишком много говорим, чересчур много. Не надо так много говорить.

И, не попрощавшись, он быстро побежал по дорожке между деревьями, словно его понесло, как ветер, отчаяние. Танцорка смотрела ему вслед с накопившимися разноречивыми чувствами, искренне удивляясь ему и себе.

Побежал он, однако, не от отчаяния, а из-за невыносимого напряжения и наполненности. Он вдруг оказался не в состоянии сказать или услышать еще хоть слово, ему нужно, ему необходимо было остаться одному, подумать, прислушаться, послушать себя. Весь разговор с Терезиной изумил и застал врасплох его самого, слова возникли помимо его воли, его вдруг стала душить острая потребность сообщить свои ощущения и мысли, сформулировать, высказать, выкрикнуть их себе самому. Он удивлялся каждому слову, которое слышал из собственных уст, но все сильней и сильней чувствовал, как речь заводит его во что-то такое, что уже не было простым и правильным, как напрасны его попытки объяснить непонятное, — и это вдруг стало ему нестерпимо, и он умолк.

Но теперь, пытаясь вспомнить прошедшие четверть часа, он думал о случившемся радостно и благодарно. Это был прогресс, это было избавление, подтверждение.

Ненадежность, в которую для него канул привычный мир, страшно измотала его и измучила. Он сталкивался с тем чудесным явлением, что наиболее осмысленной жизнь делается в минуты, когда нам плевать на смысл и все нипочем. Но снова и снова к нему возвращалось мучительное сомнение в том, что такое ощущение действительно существенно, что оно нечто большее, чем случайная рябь на поверхности усталой и больной души, каприз по сути, пошаливание нервов. Теперь он увидел, вчера вечером и сегодня, что его ощущение соответствует действительности. Оно засветилось в нем и преобразило его, оно привлекло к нему другого человека. Стена его одиночества рухнула, он снова любил, существовал кто-то, кому он хотел служить и доставлять радость, он мог опять улыбаться, опять смеяться! Это накатило на него волной, как боль и как похоть, он затрепетал, жизнь взыграла в нем как прибой, все было непонятно. Он вытаращил глаза и увидел: деревья на улице, серебряные блики на озере, бегущая собака, велосипедист — и все было странно, сказочно и чуть ли не слишком красиво, все было как новенькое, только что вынутое из груды игрушек бога, все было здесь только для него, для Фридриха Клейна, и он сам был здесь

только для того, чтобы чувствовать, как пронзает его этот ток чуда, боли и радости. Везде была красота, в любой куче отбросов на улице, везде было глубокое страдание, везде был бог. Да, это был бог, и именно таким он когда-то, давным-давно, в детстве, ощущал и искал его сердцем, когда думал «бог» или «вездесущий». Переполненное сердце, не разорвись!

Снова поднимались в нем из всех забытых пластов его жизни освободившиеся воспоминания, которым не было числа, — о разных разговорах, о поре, когда он ходил в женихах, об одежде, какую он носил в детстве, об утренних часах на каникулах, когда он был студентом, — и выстраивались вокруг нескольких устойчивых центров: вокруг образа его жены, вокруг его матери, вокруг убийцы Вагнера, вокруг Терезины. Строки писателей-классиков приходили ему на память, и латинские пословицы, взволновавшие его когда-то в годы ученичества, и глупые сентиментальные стихи из народных песен. Тень его отца стояла за ним, он снова переживал смерть тещи. Все, что когда-либо через глаза и уши ли, через людей ли и книги, с блаженством ли, с болью ли входило в него и в нем потонуло, — все опять было как бы при нем, все сразу, вперемешку, в

беспорядке, но все было полно смысла, важно, значительно, все сохранилось.

Напор этот превратился в му́ку, которую нельзя было отличить от величайшего сладострастия. Сердце у него колотилось, на глазах были слезы. Он понимал, что он близок к сумасшествию, но все-таки знал, что не сойдет с ума, и в то же время глядел на этот новый внутренний мир безумия с таким же изумлением и восторгом, как на прошлое, как на озеро, как на небо: здесь тоже все было волшебно, сообразно и полно значения. Он понимал, почему в верованиях благородных народов безумие считалось священным состоянием. Он понимал все, все обращалось к нему, все было ему открыто. Для этого не существовало слов, неверно и безнадежно было пытаться обдумать и понять что-либо с помощью слов! Нужна была только твоя открытость, твоя готовность — и тогда любой предмет, тогда весь мир нескончаемым шествием, как в Ноев ковчег, входил в тебя, и ты обладал им, понимал его и был с ним един.

Его охватила грусть. О, если бы всем это знать, всем испытать! А то ведь жили наобум, грешили наобум, слепо и безмерно страдали! Разве еще вчера он не злился на Терезину? Разве еще вчера не ненавидел жену, не обвинял ее, не взваливал

на нее ответственность за все беды своей жизни? Как грустно, как глупо, как безнадежно! Ведь все становилось таким простым, таким добрым, таким осмысленным, стоило лишь увидеть это изнутри, стоило лишь увидеть за каждой мелочью ее сущность, его, бога.

Тут открылся поворот к новым садам озарений и лесам образов. Как только он обращал свое сегодняшнее чувство к будущему, сотнями вспыхивали картины счастья — для него и для всех. Не клясть, не обвинять, не судить надо его прошлую, тупую, испорченную жизнь, а обновить, превратить в свою противоположность, полную смысла, радости, добра, любви. Милость, которой он сподобился, должна воссиять и действовать дальше. Ему приходили на ум слова из Библии и все, что он знал о взысканных милостью праведниках и святых. Так начиналось всегда, у всех. Им суждено было трусливо и в страхе идти тем же трудным и темным путем, что и ему, до того, как наступал час озарения и просветления. «В мире вам страшно», — сказал Иисус своим ученикам. Но кто преодолел страх, тот жил уже не в мире, а в боге, в вечности.

Так все учили, все мудрецы мира, Будда и Шопенгауэр, Иисус, греки. Была только одна

мудрость, одна вера, одна мысль: знание о боге в нас самих. Как извратили это, как неверно учили этому в школах, церквах, книгах и науках! Широко распахивая крылья, летела душа Клейна через сферы его внутреннего мира, его знания, его образования. И здесь тоже, как и в его внешней жизни, хватало благ, сокровищ, источников, но все они существовали сами по себе, разрозненно, мертвые и бесполезные. А теперь, с лучом знания, с просветлением, в хаосе забрезжили и здесь смысл и лад, началось творение, живые связи протянулись от полюса к полюсу. Самые умозрительные максимы стали само собой разумеющимися, темное стало светлым, а таблица умножения стала мистическим вероучением. Одухотворенным, пылающим любовью стал и этот мир. Произведения искусства, которые он любил в молодости, зазвучали с новым очарованием. Он увидел: загадочная магия искусства открывается этим же ключом. Искусство не что иное, как созерцание мира в состоянии милостивого просветления. Показывать бога за каждой вещью — вот что такое искусство.

Пылая, шагал он в восторге по миру, каждая ветка на каждом дереве участвовала в экстазе, благороднее устремлялась вверх, проникно-

веннее клонилась к земле, была символом и откровением. Тонкие фиолетовые тени облаков пробегали по зеркалу озера с очаровательным трепетом. Каждый камень многозначительно лежал рядом со своей тенью. Таким прекрасным, таким глубоко и священно милым мир никогда еще не был, во всяком случае, с таинственной, сказочной поры раннего детства. «Такими вам не стать, как дети», — вспомнилось ему, и он почувствовал: я снова стал ребенком, я вошел в царство небесное.

Когда он начал ощущать усталость и голод, он был уже далеко от города. Теперь он вспомнил, откуда пришел, что произошло, вспомнил, что, не попрощавшись, убежал от Терезины. В ближайшей деревне он стал искать трактир. Его привлекла маленькая сельская распивочная с вкопанным в землю деревянным столом — в садике под лавровишней. Он спросил еды, но не было ничего, кроме вина и хлеба. Супу, попросил он, или яиц, или ветчины. Нет, таких вещей здесь не было. Никто здесь не ел такого при нынешней дороговизне. Он поговорил сначала с хозяйкой, потом с бабкой, сидевшей на каменном пороге входной двери и чинившей белье. Затем сел под тенистое дерево в садике, с хлебом и терпким

красным вином. В соседнем саду, невидимом за листвой винограда и развешанным бельем, пели, слышал он, два девичьих голоса. Вдруг сердце ему кольнуло слово из песни, хотя он и не разобрал его. Оно повторилось в следующей строфе, это было имя Терезина. В песне, куплетах полукомического характера, речь шла о некоей Терезине. Он понял:

La sua mama alia finestra
Con una voce serpentina:
Veni a casa, o Teresina,
Lasc'andare quel traditor![4]

Терезина! Как он любит ее! Как чудесно любить!

Он положил голову на стол и забылся, задремал, просыпаясь и засыпая много раз, часто. Наступил вечер. Подошла и стала перед столом, дивясь гостю, хозяйка. Он достал деньги, попросил еще стакан вина, спросил ее насчет той песни. Она подобрела, принесла вино и стала рядом. Он выслушал весь текст песни о Терезине и очень порадовался строфе:

---

[4] notes: 4

Ее мама у окошка
Ступай домой, Терезина,

Io non sono traditore
E ne meno lusinghero,
Io son figlio d'un ricco signore,
Son venuto per fare l'amor[5].

Хозяйка сказала, что теперь может угостить его супом, она все равно готовит ужин для мужа, которого ждет.

Он поел овощного супа с хлебом, вернулся домой хозяин, на серых черепичных крышах деревни догорело позднее солнце. Он спросил комнату, ему предложили клетушку с толстыми голыми каменными стенами. Он снял ее. Никогда еще он не спал в такой клетушке, она показалась ему укрытием из какой-то драмы о разбойниках. Затем он прошелся по вечерней деревне, застал еще открытой какую-то лавчонку, купил шоколаду и раздал его детям, которыми кишела улочка. Они бегали за ним, их родители приветствовали его, каждый желал ему спокойной ночи, и он отвечал тем же, кивая всем старым и молодым людям, сидевшим на порогах и на приступках домов.

---

[5] notes: 5

Я не предатель
Я сын богатого господина,

С радостью думал он о своей клетушке в трактире, об этом примитивном, похожем на пещеру пристанище, где от серого камня голых стен, на которых не было ничего бесполезного, ни картинки, ни зеркала, ни коврика, ни занавески, отваливалась старая штукатурка. Он шел через вечернюю деревню как через приключение, все было чем-то озарено, все полно тайного обещания.

Вернувшись в остерию, он увидел из пустой и темной комнаты для гостей свет за неплотно закрытой дверью, пошел на него и вошел в кухню. Она показалась ему пещерой из сказки, тусклый свет растекался по красному каменному полу и, не успев достигнуть стен и потолка, таял в теплом густом сумраке, а чернота повисшей громадины дымохода казалась неиссякающим источником темени.

Хозяйка сидела здесь с бабкой, обе сидели, согнувшись, на низких убогих скамеечках, маленькие и слабые, с отдыхавшими на коленях руками. Хозяйка плакала, до вошедшего никому не было дела. Он сел на край стола рядом с овощными очистками, свинцово блеснул тупой нож, багровыми бликами светилась на стенах медная утварь. Хозяйка плакала, старуха вторила

ей, бормоча что-то на местном диалекте, он постепенно понял, что в доме распря и муж после очередной ссоры снова ушел. Он спросил, бил ли ее муж, но ответа не получил. Постепенно он начал ее утешать. Он сказал, что муж наверняка скоро вернется. Женщина резко сказала: «Сегодня нет, да и завтра вряд ли». Он оставил свои попытки, женщина села прямее, сидели молча, плач затих. Простота событий, по поводу которых не расточали слов, показалась ему замечательной. Поссорились, помучились, поплакали. Теперь прошло, теперь тихо сидели и ждали. Жизнь как-нибудь да продолжится. Как у детей. Как у животных. Только не говорить, только не усложнять простого, только не выворачивать наизнанку душу.

Клейн предложил бабке сварить кофе для всех троих. Женщины просияли, старуха тотчас наложила в очаг хворосту, хрустели ломающиеся ветки, бумага, затрещал, разгораясь, огонь. При вспышках пламени он видел освещенное снизу лицо хозяйки, еще довольно печальное, но все-таки успокоившееся. Она глядела в огонь, время от времени улыбаясь, потом вдруг встала, медленно подошла к крану и вымыла руки.

Затем они сидели втроем за кухонным столом и

пили горячий черный кофе, прихлебывая старую можжевеловую настойку. Женщины оживились, они рассказывали и задавали вопросы, смеясь над речью Клейна, говорившего с трудом и с ошибками. Ему казалось, что он здесь уже очень давно. Поразительно, сколько всего произошло за эти дни! Целые эпохи и полосы жизни вмещались в один вечер, каждый час казался перегруженным жизнью. Мимолетно в нем зарницами вспыхивал страх, что на него вдруг нападет удесятеренная усталость и немощь и высосет его так, как слизывает солнце каплю с камня. В эти очень короткие, но возвращавшиеся мгновения, в этих незнакомых сполохах он видел себя вживе, чувствовал и видел свой мозг, видел, что там, работая в тысячекратно ускоренном ритме, вибрирует от натуги какой-то невыразимо сложный, хрупкий, драгоценный аппарат, похожий на часовой механизм за стеклом, который может разладиться даже из-за ничтожной пылинки.

Ему рассказали, что хозяин вкладывает деньги в сомнительные дела, часто не бывает дома и водится с женщинами на стороне. Детей не было. В то время как Клейн подыскивал итальянские слова для простых вопросов и справок, за стеклом без устали продолжал лихорадочную

работу этот хрупкий часовой механизм, сразу же включая каждый прожитый миг в свои расчеты и выкладки.

Он рано поднялся, чтобы пойти спать. Он пожал руки обеим женщинам, старой и молодой, которая быстро и пристально взглянула на него, в то время как бабка боролась с зевотой. Затем он вслепую взобрался по темной лестнице с исполинскими, поразительно высокими ступенями в свою клетушку. Найдя там приготовленную ему в глиняном кувшине воду, он умыл лицо, мельком отметил отсутствие мыла, домашних туфель, ночной рубашки, постоял еще с четверть часа у окна, навалившись грудью на гранитную плиту подоконника, затем донага разделся и лег в жесткую постель, суровое полотно которой восхитило его и вызвало в воображении всякие прелести сельского быта. Не единственно ли это правильное — всегда жить так, в четырех каменных стенах, без чепухи обоев, украшений, меблировки, без всех этих лишних и, по существу, варварских причиндалов? Крыша над головой от дождя, простое одеяло от холода, немного хлеба и вина или молока от голода, утром солнце, чтобы будило, вечером сумерки, чтобы уснуть, — что еще человеку надо?

Но едва он погасил свет, как канули куда-то клетушка, и дом, и деревня. Он снова стоял у озера с Терезиной и говорил с ней, он лишь с трудом вспоминал сегодняшний разговор, и становилось неясно, что́ он, собственно, ей сказал, и не был ли вообще весь этот разговор лишь его мечтой и фантазией. Темнота была ему приятна — один бог ведает, где он завтра проснется!

Его разбудил шорох у двери. Тихо повернулась ручка, нить тусклого света упала на пол и замешкалась в щели. Удивленно и, однако, все уже зная, он взглянул туда, еще вне места и времени. Дверь отворилась, со свечой в руке перед ним стояла хозяйка, босиком, неслышно. Она взглянула на него, быстро и пристально, он улыбнулся и протянул руки, изумленно, бездумно. И вот она была уже с ним и ее темные волосы лежали рядом на грубой подушке.

Они не проронили ни слова. Загоревшись от ее поцелуя, он привлек ее к себе. Внезапная близость и теплота прильнувшего к нему человека, незнакомая сильная рука, обнявшая его шею, потрясли его до глубины души. Какими неведомыми, незнакомыми, какими до боли новыми были для него эта теплота и близость, как он был одинок, как безмерно одинок и как долго!

Пропасти и геенны огненные зияли между ним и миром — и вот пришел незнакомый человек, пришел с безмолвным доверием и потребностью в утешении, пришла бедная, забитая женщина, пришла к нему, долгие годы тоже забитому и запуганному, бросилась к нему на шею, давала, брала, жадно вылавливала из скудной жизни крупицу радости, пьяно и все-таки робко искала его рта, играла своими печально нежными пальцами его пальцами, терлась щекой об его щеку. Приподнявшись над ее бледным лицом, он целовал ее в оба закрытых глаза и думал: она считает, что берет, и не знает, что она — дающая, она гонит свое одиночество ко мне и не подозревает о моем одиночестве! Только теперь он увидел ее, возле которой весь вечер сидел как слепой, увидел, что у нее длинные, тонкие пясти и пальцы, красивые плечи, что лицо ее полно страха перед судьбой и слепой детской жадности, что у нее есть нерешительное знание каких-то прелестных дорожек и навыков нежности.

Он увидел также — и огорчился из-за этого, — что сам он остался в любви мальчиком, новичком, после долгого, прохладного брака смирившимся, робким, но лишенным невинности, чувственным, но полным нечистой совести. Еще

продолжая жадно целовать рот и грудь женщины, еще ощущая ее нежную, почти материнскую руку на своих волосах, он уже заранее чувствовал разочарование и тяжесть на сердце, чувствовал, как возвращается самое скверное — страх, и его пронизывало режущим холодом от догадки и опасения, что он по самой своей природе не способен к любви, что любовь может только мучить его и морочить. Еще не отбушевала короткая буря сладострастья, а в душу его уже закрадывались тревога и недоверие, недовольство тем, что его берут, а не он сам берет и завладевает, закрадывалось предчувствие отвращения.

Бесшумно исчезла женщина вместе со светом своей свечи. Клейн лежал в темноте, и среди насыщенности наступил миг, которого он уже раньше, уже несколько часов назад боялся, в те вещие, похожие на зарницы секунды, скверный миг, когда богатейшая музыка его новой жизни нашла в нем только усталые и расстроенные струны и за тысячи сладостных чувств пришлось вдруг расплачиваться усталостью и страхом. С колотящимся сердцем почувствовал он, как настораживаются в засаде его враги — бессонница, депрессия, удушье. Грубое белье жгло ему кожу, в окно глядела бледная ночь. Нельзя

было оставаться здесь и беззащитно терпеть надвигавшиеся мученья! Увы, все возвращалось, возвращались вина и страх, печаль и отчаяние! Все преодоленное, все прошлое возвращалось. Избавления не было.

Он поспешно оделся, без света, поискал у двери свои пыльные башмаки, пробрался вниз, выскользнул из дому и усталыми, нетвердыми шагами в отчаянии побрел из деревни сквозь ночь, глумясь над самим собой, преследуемый самим собой и с ненавистью к себе самому.

4

Борясь и отчаиваясь, сражался Клейн со своим демоном. Все новое, все знание, все избавление, обретенное им за эти поворотные в его судьбе дни, поднялось в пьяной сумятице мыслей, в хмельном ясновидении прошедшего дня какой-то волной, высота которой показалась ему обретенной раз навсегда, а он уже опять начал катиться вниз. Теперь он опять лежал в низине и сумраке, еще сопротивляясь, еще втайне надеясь, но с глубокой раной. В течение одного дня, одного короткого, блестящего дня ему дано было владеть простым искусством, знакомым любой травинке. В течение одного бедного дня он любил себя,

ощущал себя единым и целым, не расщепленным на враждебные части, он любил себя, а в себе мир и бога, и отовсюду навстречу ему шли только любовь, подтверждение и радость. Нападай на него вчера бандит, арестуй его полицейский, это было бы подтверждением, улыбкой, гармонией! А теперь он среди счастья упал и стал маленьким. Он осуждал себя, в глубине души зная, что всякое осуждение неверно и нелепо. Мир, который в течение одного чудесного дня был прозрачен и наполнен богом, опять отвердел и отяжелел, и у каждой вещи был свой собственный смысл, и каждый смысл противоречил любому другому. Восторг этого дня исчез, умер! Он, священный, был просто каприз, а встреча с Терезиной — химера, а приключение в трактире — сомнительная, нечистоплотная история.

Он уже знал, что удушающее чувство страха проходит только тогда, когда он не поучает себя и не критикует, не бередит своих ран, старых ран. Он знал: все больное, все глупое, все злое становится своей противоположностью, если ты можешь распознать в нем бога, добраться до его глубочайших корней, которые уходят гораздо дальше, чем горе и благо, чем добро и зло. Он это знал. Но тут ничего нельзя было поделать, злой

дух был в нем, бог был опять словом, прекрасный и далекий. Он, Клейн, ненавидел и презирал себя, и ненависть эта, когда приходила ее пора, охватывала его так же непроизвольно и неотвратимо, как в другое время любовь и доверие. И так будет повторяться снова и снова! Снова и снова будут выпадать ему на долю милость и блаженство и снова и снова их проклятая противоположность, и никогда не пойдет его жизнь той дорогой, которую указывает ему собственная его воля. Как мячик, как плавающую пробку, будет его вечно заносить то туда, то сюда. Пока не придет конец, пока не накроет волной и его не приберет смерть или безумие. О, поскорей бы!

Сами собой вернулись давно и горько знакомые ему мысли, напрасные страхи, напрасные самообвинения, видеть бессмысленность которых было лишь еще одной мукой. Вернулся образ, возникший у него недавно (ему казалось, что прошло несколько месяцев) в дороге: как славно было бы броситься на рельсы под поезд головою вперед! Он смаковал эту картину, вдыхал ее как эфир: головой вперед, все в клочья и вдребезги, все намотано на колеса и на рельсах размолото в прах! Его боль глубоко вгрызалась в эти видения, он с упоением и сладострастием слышал,

видел и ощущал на вкус полное уничтожение Фридриха Клейна, чувствуя, как разрываются, разбрызгиваются, раздавливаются его сердце и мозг, раскалывается болящая голова, вытекают болящие глаза, расплющивается печень, размалываются почки, сдираются волосы, растираются в порошок кости, колени и челюсти. Вот что хотелось почувствовать убийце Вагнеру, когда он топил в крови жену, детей и себя. Именно это. О, он так хорошо понимал его! Он сам Вагнер, человек одаренный, способный чувствовать божественное, способный любить, но слишком обремененный, слишком легко утомляющийся, слишком хорошо осведомленный о своих пороках и недугах. Что же делать такому человеку, такому Вагнеру, такому Клейну? Всегда видеть перед собой пропасть, отделяющую его от бога, всегда чувствовать, как проходит через его сердце трещина, расколовшая мир, всегда быть усталым, изнуренным вечными воспарениями к богу, которые вечно кончаются возвратом на землю, — что еще делать такому Вагнеру, такому Клейну, как не уничтожить себя, себя и все, что может о нем напомнить, как не метнуть себя назад в темное лоно, откуда непостижимый всегда и вечно выталкивает бренный мир форм!

Да, ничего другого не остается! Вагнер должен уйти, Вагнер должен умереть, Вагнер должен вычеркнуть себя из книги жизни. Может быть, это и бесполезно — кончать с собой, может быть, и смешно. Может быть, все это и сущая правда, что говорят о самоубийстве обыватели, живущие в другом мире. Но разве для человека в таком состоянии существует хоть что-либо, что не было бы бесполезно, не было бы смешно? Нет, ничего такого не существует. Так лучше уж положить голову под железные колеса, почувствовать, как она треснет, и с готовностью нырнуть в бездну.

Нетвердой походкой он неутомимо шел час за часом. На рельсах железной дороги, к которой его привел его путь, он некоторое время полежал, даже задремал, головой на железе, а проснувшись, забыл, чего хотел, встал и пустился, качаясь, дальше с болью в ступнях, с муками в голове, то падая и напарываясь на колючки, то легко и словно паря, то еле волоча ноги.

«Заездит черт меня вконец!» — хрипло напевал он себе позднее. Созреть вконец! В муках дожариться, доспеть, как косточка в персике, чтобы достичь зрелости, чтобы умереть наконец!

Тут в его мраке замаячила искорка, к которой он сразу же устремился всем пылом своей рас-

терзанной души. Мысль: бесполезно кончать с собой, кончать с собой сейчас, незачем убивать и уничтожать часть за частью своего тела, это бесполезно! Хорошо зато и избавительно пострадать, доспеть в муках и слезах, окончательно выковаться, снося удары и боль. Тогда можно умереть, и тогда это хорошая смерть, прекрасная и осмысленная, самое большое на свете блаженство, блаженнее всякой ночи любви: догорев и с полной готовностью упасть назад в лоно, чтобы погаснуть, чтобы получить избавление, чтобы родиться заново. Только такая смерть, такая зрелая и хорошая, благородная смерть имеет смысл, только она — избавление, только она — возвращение домой. Тоска зарыдала в его сердце. О, где этот узкий, трудный путь, где выход к нему? Он, Клейн, был готов, он стремился туда каждой жилкой своего дрожащего от усталости тела, своей сотрясаемой смертной мукой души.

Когда на небе забрезжило утро и свинцовое озеро засеребрилось первым холодным блеском, беглец стоял в каштановой рощице высоко над городом и озером, среди влажных от росы папоротников и высокой цветущей таволги. Потухшими глазами, но улыбаясь, глядел он на удивительный мир. Он достиг цели своего безум-

ного бега: он так устал, что испуганная душа молчала. И главное, ночь кончилась! Бой был выдержан, одна опасность отведена. В изнеможении он рухнул как мертвый наземь, среди папоротников и корней, головой в листья черники, мир уплыл от его отказавшего сознания. Вцепившись руками в траву — грудью и лицом в землю, — он с такой голодной жадностью отдался сну, словно это был вожделенный последний сон.

Во сне, лишь обрывки которого ему запомнились, он увидел вот что: у ворот, похожих на вход в театр, висела большая вывеска с огромной надписью, читавшейся (это было неясно) не то как «Лоэнгрин», не то как «Вагнер». В эти ворота он вошел. За ними оказалась женщина, похожая на недавнюю трактирщицу, но и на его жену. Голова ее была безобразна, слишком велика, а лицо казалось карикатурной маской. Его охватило сильнейшее отвращение к этой женщине, он ткнул ее ножом. Но другая женщина, как бы точное отражение первой, в отместку напала на него сзади, впилась ему в горло острыми, сильными когтями и пыталась его задушить.

Пробудившись от этого глубокого сна, он удивленно увидел над собой рощу, тело его затекло от лежания на твердом, но он освежился. С лег-

ким испугом ловил он в себе отзвуки сна. Какая странная, наивная и дикарская игра фантазии! — подумал он с усмешкой, вспомнив ворота с призывом войти в театр «Вагнер». Что за блажь изображать его отношение к Вагнеру таким образом! Дух этого сна был груб, но гениален. Он попал в самую точку. И он, казалось, все знал! Театр с надписью «Вагнер» — разве это не он сам, не призыв войти в себя самого, в неведомую страну истинной своей сути? Ведь Вагнером был он сам. Вагнер — это был сидевший в нем убийца и беглец, но Вагнер — это был и композитор, художник, гений, совратитель, это была тяга к радостям жизни, к плотским радостям, к роскоши. Вагнер — это было собирательное название всего подавленного, подспудного, загубленного в бывшем служащем Фридрихе Клейне. И «Лоэнгрин» — разве это тоже не он сам, Лоэнгрин, странствующий рыцарь с таинственной целью, у которого нельзя спрашивать его имя? Остальное было неясно, женщина с ужасной головой-маской и другая, с когтями, — удар ножом ей в живот тоже напомнил ему что-то, он надеялся еще понять это, — атмосфера убийства и смертельной опасности странно и противоречиво смешалась с атмосферой театра, масок и игры.

При мысли об этой женщине и об этом ноже он ясно увидел на миг перед собой свою супружескую спальню. Тут он сразу вспомнил о детях — как мог он забыть их? Ему вспомнилось, как они утром вылезали из кроваток в ночных рубашечках. Ему вспомнились их имена, особенно Элли. О, дети! Из глаз у него медленно потекли слезы по усталому от бессонной ночи лицу. Он помотал головой, не без усилия поднялся и стал стряхивать листья и землю с измятой одежды. Только сейчас он ясно вспомнил эту ночь, голую каменную клетушку в деревенском трактире, чужую женщину у своей груди, свое бегство, свою гонку. Он смотрел на этот маленький, несуразный кусок жизни, как глядит больной на свою отощавшую руку, на сыпь у себя на ноге.

Со спокойной грустью, еще со слезами на глазах, он тихонько сказал:

— Боже, что еще задумал ты сделать со мной?

Из всех мыслей этой ночи в нем продолжал звучать только один голос, полный тоски: созреть, вернуться домой, получить право умереть. Далека ли еще его дорога? Далек ли еще дом? Придется ли вытерпеть еще много-много тяжелого, вытерпеть немыслимое? Он был готов к этому, он себя не жалел, сердце его было открыто: судьба,

вот он я, бей!

Медленно спустился он через горные луга и виноградники к городу. Он вернулся в свой номер, помылся и причесался, переменил одежду. Он пошел обедать, выпил хорошего вина и почувствовал, как растворяется в его онемевшем теле и делается приятной усталость. Он узнал, когда в курзале танцуют, и отправился туда к чаю.

Терезина как раз танцевала, когда он вошел. Он обрадовался, снова увидев на ее лице особо сияющую, танцевальную улыбку. Он поздоровался с ней, когда она возвратилась к своему столику, и сел за него.

— Я хочу пригласить вас поехать сегодня вечером со мной в Кастильоне, — сказал он тихо.

Она подумала.

— Прямо сегодня? — спросила она. — Это так спешно?

— Я могу и погодить. Но было бы славно. Где мне ждать вас?

Она не устояла перед приглашением и перед детской, странно красивой улыбкой, несколько секунд продержавшейся на его испещренном морщинами одиноком лице, как держится еще на последней стене сгоревшего и рухнувшего дома лоскут веселых, пестрых обоев.

— Где же вы были? — спросила она с любопытством. — Вчера вы так внезапно исчезли. И каждый раз у вас другое лицо, сегодня тоже… Вы ведь не морфинист?

Он только улыбнулся странно красивой и немного необычной улыбкой, при которой его рот и подбородок сделались совсем детскими, в то время как надо лбом и глазами по-прежнему оставался терновый венец.

— Пожалуйста, зайдите за мной около девяти в ресторан гостиницы «Эспланада». Кажется, в девять уходит катер. Но скажите, что вы делали со вчерашнего дня?

— Кажется, я гулял весь день, да и всю ночь. Мне пришлось утешать одну женщину в одной деревне, потому что от нее ушел муж. И еще я бился с одной итальянской песней, которую хотел выучить, потому что в ней фигурирует некая Терезина.

— Что это за песня?

— Она начинается так: «Su in cima di quel boschetto…»[6]

— Господи, и эту песенку тоже вы уже знаете? Да, она сейчас в моде у девчонок-продавщиц.

---

[6] notes: 6
На этой лесистой горе… *(ит.)*

— О, я нахожу ее очень красивой.

— И женщину вы утешали?

— Да, она грустила, ее муж ушел и изменял ей.

— Вот как? Ну и как же вы ее утешали?

— Она пришла ко мне, чтобы не быть одной. Я ее целовал и лежал с ней.

— Она была красива?

— Не знаю, не разглядел… Нет, не смейтесь, не смейтесь над этим! Это было так грустно.

Она все-таки посмеялась.

— До чего вы смешны! Ну, а спать вы вообще не спали? Судя по вашему виду…

— Нет, я проспал несколько часов, в лесу, там, наверху.

Она проводила взглядом его палец, указавший на потолок зала, и громко рассмеялась.

— В трактире?

— Нет, в лесу. В чернике. Она уже почти созрела.

— Вы фантазер… Но мне надо танцевать, директор уже стучит… Где вы, Клаудио?

Красивый смуглый танцор стоял уже за ее стулом, заиграла музыка. В конце танца Клейн удалился.

Вечером он зашел за ней точно в назначенное время и был рад, что на нем смокинг, ибо Терези-

на оделась очень нарядно, в фиолетовое платье со множеством кружев, и выглядела как княгиня.

На берегу он повел Терезину не к рейсовому катеру, а к красивой моторной лодке, которую нанял на этот вечер. Они сели в нее, в полуоткрытой каюте Терезину ждали пледы и цветы. Крутым виражом быстроходная лодка, фырча, вышла из гавани в озеро.

Вдали от берега, среди ночной тишины, Клейн сказал:

— Терезина, не жаль ли, право, сейчас толочься в толпе? Если хотите, поедем дальше, без цели, покатаемся сколько захочется или съездим в какую-нибудь красивую тихую деревню, выпьем местного вина, послушаем, как поют девушки. Как по-вашему?

Она промолчала, и он сразу увидел разочарование у нее на лице. Он засмеялся.

— Да это мне просто так вдруг взбрело в голову, простите. Вы должны повеселиться и получить удовольствие, другой программы у нас нет. Мы будем там через десять минут.

— Неужели вас совсем не интересует игра? — спросила она.

— Увидим, сперва мне надо попробовать. Смысл ее мне пока немного неясен. Можно выиграть

и проиграть деньги. Мне кажется, есть более острые ощущения.

— Но ведь деньги, на которые играют, не обязательно должны быть просто деньгами. Для каждого это символ, каждый выигрывает или проигрывает не деньги, а все мечты и желания, которые деньги для него означают. Для меня они означают свободу. Если у меня есть деньги, мне никто не может приказывать. Я живу как хочу, я танцую когда, где и для кого хочу. Я еду куда хочу.

Он прервал ее:

— Какой вы ребенок, милая барышня! Такой свободы не существует, кроме как в ваших желаниях. Завтра вы будете богаты, свободны и независимы, а послезавтра влюбитесь в какого-нибудь малого, который опять отберет у вас деньги или перережет вам ночью горло.

— Не говорите так гадко! Так вот: будь я богата, я жила бы, может быть, проще, чем сейчас, но жила бы так только ради собственного удовольствия, добровольно, а не по принуждению. Я ненавижу принуждение! И понимаете, когда я кладу свои деньги на кон, то в каждом проигрыше и каждом выигрыше участвуют все мои желания, под вопросом все, чем я дорожу и к чему

стремлюсь, а это дает чувство, обрести которое иначе не так-то легко.

Клейн смотрел на нее, пока она говорила, не очень вникая в ее слова. Он безотчетно сравнивал лицо Терезины с лицом женщины, которая приснилась ему в роще.

Лишь когда лодка вошла в кастильонскую бухту, это дошло до его сознания, ибо вид освещенного щита с названием станции остро напомнил ему вывеску из сна, ту, где было написано не то «Лоэнгрин», не то «Вагнер». Совершенно так же выглядела та вывеска, была таких же размеров, такая же серая и белая, так же ярко освещена. Не здесь ли та сцена, которая его ждала? Не идет ли он к Вагнеру? Теперь он нашел, что и Терезина похожа на женщину из сна, вернее, на обеих женщин, из которых одну он заколол ножом, а другая насмерть душила его когтями. От ужаса у него побежали мурашки по коже. Неужели все это было связано? Неужели его опять вели неведомые силы? Куда же? К Вагнеру? К убийству? К смерти?

Сходя на берег, Терезина взяла его под руку, и так, рука об руку, прошли они через маленькую суматошную пристань и через деревню в казино. Здесь все приобрело тот полупрелестный-полуу-

томительный блеск неправдоподобия, который всегда есть в увеселениях алчного люда, когда они устраиваются вдали от городов, в тихих местах. Дома были слишком велики и слишком новы, свет слишком обилен, залы слишком роскошны, люди слишком оживленны. Между большими, темными грядами гор и широким, спокойным озером жался маленький рой ненасытных и пресыщенных людей, теснясь так боязливо, словно он ни минуты не верил в свою прочность, словно в любой миг могло что-то стрястись и его смести. Из залов, где ели и пили шампанское, сочилась сладкая, перегретая скрипичная музыка, на лестницах между пальмами и фонтанами мелькали цветы и женские платья, бледные лица мужчин над вырезами вечерних костюмов, синие лакеи с золотыми пуговицами, деловитые, услужливые и всеведущие, благоухающие дамы с южными лицами, бледными и пылающими, красивыми и больными, северные плотные женщины, крепкие, властные и самоуверенные, старые джентльмены, словно сошедшие с иллюстраций к Тургеневу и Фонтане.

Клейн почувствовал недомогание и усталость, как только они вошли в залы. В большом игорном зале он вынул из кармана два тысячных билета.

— Ну как? — спросил он. — Будем играть вместе?

— Нет, нет, это не годится. Каждый за себя.

Он дал ей один билет и попросил ее проводить его. Вскоре они остановились у стола, где шла игра. Клейн положил свой банкнот на какой-то номер, колесо завертелось, он ничего не понял, увидел только, что его ставку смели и она исчезла. Быстро идет дело, подумал он удовлетворенно и хотел улыбнуться Терезине. Ее уже не было рядом с ним. Он увидел, что она стоит у другого стола и меняет деньги. Он пошел туда. Вид у нее был задумчивый, озабоченный и очень занятой, как у домашней хозяйки.

Он последовал за ней к игровому столу и стал наблюдать. Она знала игру и следила за ней с напряженным вниманием. Она ставила маленькие суммы, не больше пятидесяти франков, то одним, то другим способом, несколько раз выигрывая, клала банкноты в вышитую бисером сумочку, снова вынимала банкноты.

— Как дела? — вторгся он с вопросом.

Она была недовольна тем, что ей помешали:

— О, дайте мне поиграть! Я-то уж не оплошаю.

Вскоре она переменила стол, он незаметно последовал за ней. Поскольку она была так увле-

чена и не обращалась к нему за помощью, он прошел и сел на кожаную скамью у стены. Одиночество обрушилось на него. Он снова погрузился в размышления о своем сне. Очень важно было понять его. Может быть, впредь у него нечасто будут такие сны, может быть, это, как в сказке, знаки, которые подают добрые духи: дважды, а то и трижды тебя манят или предостерегают, и если ты так и не прозреешь, судьба идет своим чередом и уже никакая дружественная сила больше не вмешивается. Время от времени он искал глазами Терезину, видел, как она то сидит, то стоит у стола, ее желтые волосы светились среди фраков.

«Как долго возится она с тысячей франков! — подумал он, заскучав. — У меня это получилось быстрее».

Однажды она кивнула ему. Однажды, через час, подошла, застала его погруженным в себя и положила руку ему на рукав:

— Что с вами? Разве вы не играете?

— Я уже поиграл.

— Проиграли?

— Да. О, не так уж много.

— Я кое-что выиграла. Возьмите из моих денег.

— Спасибо, на сегодня хватит… Вы довольны?

— Да, это славно. Ну, я пойду опять. Или вы уже хотите домой?

Она продолжала играть, то тут, то там мелькали ее волосы между плечами игроков. Он отнес ей бокал шампанского и сам выпил бокал. Затем снова сел на кожаную скамью.

Как это было во сне с обеими женщинами? Они были похожи и на его жену, и на женщину из трактира, и на Терезину. Других женщин он не знал уже много лет. Одну он заколол, из отвращения к ее искаженному, опухшему лицу. Другая напала на него сзади и хотела его задушить. Что же верно? Что важно? Кто кого ранил — он жену или она его? Кто из-за кого погибнет — он из-за Терезины или она из-за него? Неужели он не может любить женщину, не нанося ей ран и не оказываясь раненным ею? Неужели это его проклятье? Или это общий закон? Неужели у всех так? Неужели любовь вообще такова?

И что связывает его с этой танцоркой? То обстоятельство, что он любит ее? Он любил многих женщин, которые об этом так и не узнали. Что привязывает его к ней, стоящей вон там и занятой азартной игрой, как серьезным делом? Сколько ребяческого в ее рвении, в ее надежде, сколько в ней здоровья, наивности и жажды жизни! Что

она в этом поймет, если узнает о его самом сокровенном желании, о тоске по смерти, о стремлении угаснуть, вернуться домой в лоно бога! Может быть, она полюбит его, уже скоро, может быть, станет жить с ним — но будет ли это иначе, чем было с его женой? Не будет ли он всегда и вовеки один со своими самыми глубокими чувствами?

Терезина прервала его мысли. Она остановилась возле него и вручила ему пачку банкнотов:

— Пусть это пока хранится у вас.

Спустя какое-то время, он не знал, вскоре ли или после долгого отсутствия, она пришла снова и попросила вернуть ей эти деньги.

Она проигрывает, подумал он, слава богу! Надо надеяться, она скоро кончит.

Пришла она вскоре после полуночи, довольная и несколько возбужденная.

— Ну вот, прекращаю. Вы, бедняга, конечно, устали. Не поесть ли нам, перед тем как ехать домой?

В буфете они ели яичницу с ветчиной и фрукты и пили шампанское. Клейн очнулся и взбодрился. Танцорка изменилась, она повеселела и была слегка под хмельком. Она снова видела и знала, что она красива и хорошо одета, ловя взгляды, которые посылали ей мужчины с соседних сто-

ликов, и Клейн тоже чувствовал происшедшую с ней перемену, он снова видел ее полной очарования и соблазнительной прелести, снова слышал, как звучат в ее голосе вызов и пол, снова видел ее белые руки и жемчужную шею в кружевных ото- рочках.

— Вы крупно выиграли? — спросил он со смехом.

— Порядочно, хотя и не самый большой куш. Что-то около пяти тысяч.

— Ну, это неплохое начало.

— Да, я, конечно, продолжу, в следующий раз. Но это еще не то. Надо одним махом, а не по капле.

Он хотел сказать: «Тогда и ставить надо было не по капле, а все сразу», — но вместо этого выпил с ней за большую удачу и продолжал смеяться и болтать.

Как красива была эта девушка, как здорова и проста в своей радости! Всего час назад стояла она у столов для игры, суровая, озабоченная, собранная, злая, расчетливая. Теперь у нее был такой вид, словно ее никогда ничто не заботило, словно она понятия не имела о деньгах, об игре, о делах, а знала лишь радость и легко скользила по ослепительной поверхности жизни. Неужели

все это было подлинным, настоящим? Ведь сам он тоже смеялся, тоже веселился, тоже добивался того, чтобы ее глаза светились радостью и любовью, — а в то же время в нем сидел кто-то, кто в это не верил, кто на все это глядел с недоверием и насмешкой. А было ли у других людей по-другому? Ах, как мало, как до отчаяния мало знаешь о людях! Выучишь в школе сотню-другую дат каких-то дурацких битв, сотню-другую имен каких-то дурацких старых королей, ежедневно читаешь статьи о налогах или о Балканах, а о человеке не знаешь ничего! Если не звонит звонок, если дымит печь, если застопорится какое-нибудь колесо в машине, сразу знаешь, где искать, и вовсю ищешь, и находишь поломку, и знаешь, как исправить ее. А та штука в нас, та тайная пружинка, которая одна только и дает смысл жизни, та штука в нас, которая одна только и живет, одна только и способна ощущать радость и боль, желать счастья, испытывать счастье, — она неизвестна, о ней ничего не знаешь, совсем ничего, и если она занеможет, то уж ее не поправишь. Разве это не дикость?

Пока он пил и смеялся с Терезиной, в других областях его души, то ближе к сознанию, то дальше от него, копошились такие вопро-

сы. Все было сомнительно, все расплывалось в неопределенности. Знать бы ему хотя бы одно: эта неуверенность, эта тоска, это отчаяние среди радости, эта обреченность думать и спрашивать — сидят ли они и в других людях или только в нем, ни на кого не похожем Клейне?

Одно нашел он, в чем отличался от Терезины, в чем она была иной, чем он, наивной и первозданно здоровой. Эта девушка, как все люди и как раньше он сам, всегда инстинктивно принимала в расчет будущее, завтра и послезавтра, продолжение жизни. Могла ли бы она иначе играть и так серьезно относиться к деньгам? И тут, он глубоко это чувствовал, тут у него дело обстояло иначе. Для него за каждым чувством, за каждой мыслью была открыта дверь, которая вела в никуда. Да, он страдал от страха, от страха перед множеством вещей, перед безумием, перед полицией, перед бессонницей, даже от страха перед смертью. Но всего, перед чем он испытывал страх, он в то же время желал и жаждал, он был полон жгучей, смешанной с любопытством тоски по страданию, по гибели, по преследованию, по безумию и смерти.

Смешной мир, сказал он про себя, имея в виду не окружавший его мир, а это внутреннее состоя-

ние. Болтая, вышли они из зала и из казино и при бледном свете фонарей прошли к сонному берегу, где им пришлось будить своего перевозчика. Потребовалось некоторое время, чтобы приготовить лодку к отплытию, и они в ожидании стояли рядом, очутившись вдруг после сиянья и пестрой толчеи казино в темной тишине пустынного ночного берега, еще с принесенным оттуда смехом на горячих губах и уже овеянные холодом ночи, сонливости и страха перед одиночеством. Оба чувствовали одно и то же. Они неожиданно взялись за руки, растерянно и смущенно улыбнулись в темноте, поиграли друг с другом дрожащими пальцами. Перевозчик позвал их, они прыгнули в лодку, сели в каюту, и он рывком прижал к себе светловолосую тяжелую голову Терезины и обдал ее внезапным огнем поцелуев.

Защищаясь, она выпрямилась и спросила:

— Мы, может быть, скоро опять приедем сюда?

При всем любовном волнении он не мог втайне не усмехнуться.

Она все еще думала об игре, она хотела приехать еще раз и продолжить свое дело.

— Когда захочешь, — сказал он, добиваясь своего, — завтра, и послезавтра, и в любой день.

Когда он почувствовал, как играют ее пальцы

у него на затылке, его пронзило воспоминание о том странном чувстве во сне, когда женщина, мстя, впилась когтями ему в шею.

«Сейчас ей следовало бы убить меня, это было бы правильно, — подумал он, пылая, — или мне ее».

Охватывая ладонью ее грудь, он тихо смеялся про себя. Он не смог бы отличить теперь радость от боли. И его похоть, его голодная тоска по близости с этой красивой сильной женщиной была неотличима от страха, он желал ее, как ждет удара топором осужденный. Тут было то и другое, пылающее вожделение и безотрадная грусть, то и другое жгло, лихорадочно вспыхивало звездами, грело, убивало.

Терезина гибко увернулась от слишком смелой ласки, схватила обе его руки, приблизила свои глаза к его глазам и прошептала, словно отсутствуя:

— Что ты за человек, скажи? Почему я люблю тебя? Почему меня тянет к тебе? Ты уже старый и некрасивый — как же так? Знаешь, я думаю все-таки, что ты преступник. Разве нет? Твои деньги не краденые?

Он попытался выпутаться:

— Не говори, Терезина! Все деньги краденые,

всякая собственность неправедна. Разве это важно? Все мы грешники, все мы преступники уже потому только, что живем на свете. Разве это важно?

— А что важно? — встрепенулась она.

— Важно, что мы выпьем эту чашу, — сказал Клейн медленно, — все остальное не важно. Может быть, больше она не вернется. Пойдешь со мной спать или мне можно пойти к тебе?

— Пойдем ко мне, — сказала она тихо. — Я боюсь тебя, и все же я должна быть с тобой. Не говори мне своей тайны! Я не хочу ничего знать!

Мотор умолк, и она очнулась, вырвалась, пригладила, приходя в себя, волосы и одежду. Лодка тихо подошла к мосткам. Огни фонарей отражались, разбрызгиваясь, в черной воде. Они сошли на берег.

— Постой, моя сумка! — вскрикнула Терезина через десяток шагов. Она побежала назад к мосткам, прыгнула в лодку, нашла на сиденье сумку с деньгами, швырнула купюру недоверчиво глядевшему на нее перевозчику и бросилась в объятия Клейну, который ждал ее на набережной.

5

Вдруг началось лето, за два жарких дня оно изменило мир, углубило леса, околдовало ночи. Жарко теснили друг друга часы и минуты, быстро обегало свой пылающий полукруг солнце, быстро и торопливо следовали за ним звезды, жизнь пылала лихорадочным жаром, бесшумная жадная спешка гнала мир.

Однажды вечером танец Терезины в курзале прервала неистово налетевшая гроза. Погасли лампы, лица осклабливались в белом блеске молний, кричали женщины, ворчали официанты, с дребезгом разбивались на ветру окна.

Клейн сразу потянул Терезину к своему столику, где он сидел рядом со старым комиком.

— Великолепно! — сказал он. — Пошли отсюда. Ты ведь не боишься?

— Нет, не боюсь. Но сегодня тебе не надо идти со мной. Ты три ночи не спал и выглядишь ужасно. Проводи меня до дома, а потом ступай спать в свою гостиницу. Прими веронал, если он тебе нужен. Ты живешь как самоубийца.

Они шли — Терезина в плаще, одолженном у кого-то из официантов, — сквозь бурю, сквозь молнии, сквозь вихри пыли по опустевшим, без-

людным улицам, ликующе гулко раскатывались, вороша ночь, удары грома, и вдруг хлынул дождь, рассыпался по мостовой, припустил с избавительным всхлипыванье, забушевал ливнем в густой летней листве.

Промокшие и продрогшие, пришли они в квартиру танцорки, Клейн не пошел домой, об этом больше не говорили. Облегченно вздохнув, они вошли в спальню, со смехом скинули с себя промокшее платье. В окне ослепительно сверкали молнии, в акациях устало метались буря и дождь.

— Мы больше так и не были в Кастильоне, — насмешливо сказал Клейн. — Когда поедем туда?

— Съездим, съездим, не беспокойся. Тебе скучно?

Он привлек ее к себе, обоих лихорадило, и отсвет грозы горел в их ласке. Толчками врывался в окно охладившийся воздух с горьким запахом листьев и тупым запахом земли. После любовной борьбы оба скоро впали в дремоту. На подушке его осунувшееся лицо лежало рядом с ее свежим лицом, его жидкие, сухие волосы рядом с ее пышными, цветущими. За окном догорала ночная гроза и, устав, погасла. Буря уснула. Успокоившись, поливал деревья тихий дождь.

Вскоре после часа ночи Клейн, который уже не знал продолжительного сна, очнулся от сумбура тяжелых, душных видений с хаосом в голове и болью в глазах. Он неподвижно полежал с открытыми глазами, вспоминая, где он находится. Была ночь, кто-то дышал рядом с ним, он был у Терезины.

Он медленно приподнялся. Снова вернулись муки, снова было ему суждено одиноко лежать час за часом с болью и страхом в сердце, страдать напрасным страданием, думая напрасные думы, тревожась напрасной тревогой. Из кошмара, который его разбудил, за ним ползли тяжелые, жирные чувства, отвращение и ужас, пресыщенность, презрение к себе.

Он ощупью включил электричество. Холодный свет тек по белой подушке, по стульям, заваленным одеждой, в узкой стене чернела дыра окна. На отвернувшееся лицо Терезины падала тень, ее затылок и волосы ярко сияли.

Так лежала, случалось когда-то видеть ему, и его жена, возле нее он тоже, бывало, лежал без сна, завидуя ее сну, словно высмеиваемый ее сытым, довольным дыханием. Никогда, никогда в жизни не бываешь до такой степени, так полностью покинут своим ближним, как когда он спит!

И снова, как уже часто, представился ему страждущий Иисус в Гефсиманском саду, где его душит смертельный страх, а его ученики спят, спят.

Он тихонько подтянул к себе подушку вместе со спящей головой Терезины. Теперь он увидел ее лицо, такое незнакомое во сне, такое погруженное в себя, такое отстраненное от него. Одно плечо и грудь были обнажены, под простыней мягко поднималось ее тело при каждом вздохе. Смешно, подумалось ему, что в любовных речах, стихах и письмах вечно говорят о прелестных губах и щеках и никогда не говорят о животе, о ноге! Ложь! Ложь! Он долго разглядывал Терезину. Этим прекрасным телом, этой грудью и этими белыми, здоровыми, сильными, холеными руками и ногами она часто еще будет соблазнять его и обнимать, будет брать у него радость, а потом спокойно спать, сыто и глубоко, без боли и страха, красивая, тупая и глупая, как здоровый спящий зверь. А он будет лежать рядом с ней без сна, с трепещущими нервами, с измученным сердцем. Часто ли еще? Часто ли еще? Ах нет, уже не часто, уже не много раз, может быть, ни разу больше! Он вздрогнул. Нет, он знал это: ни разу больше.

Он со стоном вдавил большой палец в глазницу, где между глазом и лбом гнездилась эта адская

боль. Вагнер тоже, конечно, испытывал эту боль, учитель Вагнер. Он испытывал ее, эту безумную боль, конечно, годами, он нес ее и терпел, думая, что в своих муках, в напрасных своих муках он созревает и приближается к богу. Пока в один прекрасный день не перестал выносить это — как и он, Клейн, не может выносить это больше! Боль-то пустяк, а вот мысли, сны, кошмары! И вот однажды ночью Вагнер встал и увидел, что нет смысла множить и множить такие ночи, полные мук, что таким способом не придешь к богу, и взялся за нож. Это было, наверно, бесполезно, это было, наверно, глупо и нелепо со стороны Вагнера, что он совершил убийство. Кто не знал его мук, кто не переболел его болью, тот ведь не мог это понять.

Он сам недавно во сне заколол ножом женщину, потому что ему было нестерпимо видеть ее искаженное лицо. Искаженным, впрочем, бывает всякое лицо, которое любишь, искаженным и жестоко вызывающим, когда оно перестает лгать, когда оно молчит, когда оно спит. Тогда видишь его суть и не видишь в нем ни капли любви, как и в собственном сердце не находишь ни капли любви, увидав его суть. Там только жажда жизни и страх, и от страха, от детского страха перед

холодом, перед одиночеством, перед смертью люди бегут друг к другу, целуются, обнимаются, трутся щекой о щеку, прижимаются ногами к ногам, бросают в мир новых людей. Так оно и ведется. Так пришел он когда-то к своей жене. Так пришла к нему жена трактирщика в какой-то деревне, когда-то, в начале его теперешнего пути, в голой каменной клетушке, босиком и молча, гонимая страхом, жаждой жизни, потребностью в утешении. Так и он пришел к Терезине, и она к нему. Всегда один и тот же инстинкт, одно и то же желание, одно и то же недоразумение. И всегда одно и то же разочарование, одна и та же ужасная боль. Думаешь, что близок к богу, а обнимаешь женщину. Думаешь, что достиг гармонии, а всего только сваливаешь свою вину и свою беду на далекое будущее существо! Обнимаешь женщину, целуешь ее в губы, гладишь ее грудь и зачинаешь с ней ребенка, и когда-нибудь этот ребенок, настигнутый той же судьбой, будет ночью так же лежать рядом с женщиной, и так же очнется от опьянения, и заглянет в бездну измученными болью глазами, и все проклянет. Невыносимо додумывать это до конца!

Он очень внимательно разглядывал лицо спящей, плечо и грудь, желтые волосы. Все это

мнилось ему радостью и счастьем. Теперь кончено, теперь пора свести счеты. Он вошел в театр «Вагнер», он понял, почему любое лицо, как только обман исчезнет, оказывается таким искаженным и ненавистным.

Клейн встал с кровати и пошел искать нож. Пробираясь, он стряхнул со стула длинные светло-коричневые чулки Терезины — и мгновенно вспомнил, как впервые увидел ее в парке и каким очарованием повеяло на него от ее походки, от ее ботинка, от ее туго натянутого чулка. С тихим смехом, словно злорадствуя, он брал в руку предметы одежды Терезины, один за другим, и, ощупав, ронял их на пол. Затем он стал искать снова, минутами все забывая. Его шляпа лежала на столе, он бездумно взял ее в руки, повертел, заметил, что она мокрая, и надел ее. У окна он остановился, поглядел в черноту, послушал пенье дождя, которое доносилось словно бы из давних, других времен. Чего все они от него хотят — окно, ночь, дождь, какое ему до нее дело, до старой книжки с картинками из времен детства?

Вдруг он остановился. Взяв в руку вещицу, лежавшую на столе, он посмотрел на нее. Это было серебряное овальное зеркало с ручкой, и из зеркала на него выглянуло лицо, лицо Вагне-

ра, безумное, перекошенное лицо с глубокими, тенистыми впадинами и раздавленными, распавшимися чертами. Теперь ему поразительно часто случалось неожиданно взглянуть в зеркало, ему казалось, что раньше он годами не глядел в зеркало. И это тоже, по-видимому, связано было с театром «Вагнер».

Он остановился и долго глядел в зеркало. Это лицо бывшего Фридриха Клейна износилось, оно отжило и отслужило свое. Каждая морщина кричала о гибели. Это лицо должно было исчезнуть, его надо было уничтожить. Оно было очень старым, это лицо, в нем многое отражалось, слишком многое, много лжи и обманов, много дождей и пыли оно повидало. Когда-то оно было красивым и гладким, когда-то он любил и холил его и радовался ему, но часто и ненавидел. Почему? И то и другое было уже непонятно. И почему он стоит сейчас здесь, ночью, в этой чужой комнатенке, с зеркалом в руке и мокрой шляпой на голове, каким-то нелепым шутом — что это с ним? Чего он хочет? Он сел на край стола. Чего он хотел? Чего искал? Ведь он же что-то искал, искал что-то очень важное?

Да, нож.

Потрясенный, он вдруг вскочил и ринулся к

кровати. Он склонился над подушкой, увидел спящую, которая лежала среди желтых волос. Она еще жива! Он еще ничего не сделал! Ужас окатил его стужей. Боже мой, вот оно! Вот и пришло, вот и случилось то, что всегда, всегда уже виделось ему в его ужаснейшие часы. Вот оно. Вот он, Вагнер, стоит у постели спящей и ищет нож!.. Нет, он не хочет. Нет, он не безумец! Слава богу, он не безумец! Все было хорошо.

Умиротворенный, он медленно оделся, надел штаны, пиджак, башмаки. Все было хорошо.

Подходя к кровати еще раз, он наступил на что-то мягкое. Это была лежавшая на полу одежда Терезины — чулки, серое платье. Он бережно поднял их и развесил на стуле.

Погасив свет, он вышел из комнаты. Перед домом тихо и холодно накрапывал дождь, кругом не было ни огня, ни души, ни звука, был только дождь. Он запрокинул лицо, подставив дождю лоб и щеки. Неба не разглядеть. Какая темень! Очень, очень хотелось ему увидеть звезду.

Он спокойно шел по улицам, промокая под дождем. Ни души, ни хотя бы собаки навстречу, все вымерло. На берегу озера он походил от лодки к лодке, они все были подняты на сушу и прочно закреплены цепями. Только совсем уже за

городом он нашел одну, некрепко привязанную веревкой и легко отвязывающуюся. Он отвязал ее и вставил весла в уключины. Скоро берег исчез, ушел в серую муть, словно его не было, только серость, чернота и дождь остались на свете, серое озеро, мокрое озеро, серое озеро, мокрое небо, все без конца.

Далеко среди озера он убрал весла. Вот и настало время, и он был доволен. Прежде ему всегда хотелось в мгновенья, когда смерть казалась неминуемой, еще немного помедлить, отложить это дело на завтра, попробовать пожить дальше. Ничего подобного не было сейчас и в помине. Его маленькая лодочка — это был он, это была его маленькая, ограниченная, искусственно поддерживаемая жизнь, а серая даль кругом — это был мир, это был космос и бог, отдаться ей было нетрудно, это было легко, это было радостно.

Он сел на борт лодки, ногами наружу, в воду. Он медленно наклонялся, наклонялся вперед, пока лодка мягко не отделилась от него сзади. Он был в космосе.

В немногие мгновенья, прожитые им еще затем, было пережито куда больше, чем за те сорок лет, что он до сих пор находился в пути к этой цели.

Началось вот с чего: в тот миг, когда он падал, когда молниеносную долю секунды висел между бортом и водой, ему представилось, что он совершает самоубийство, мальчишеский поступок, нечто не то чтобы скверное, а смешное и довольно дурацкое. Пафос желания умереть и пафос самого умирания сник, ничего от него не осталось. Его умирание уже не было необходимо, теперь уже нет. Оно было желательно, оно было прекрасно и желанно, но необходимо оно уже не было. С того мига, с той молниеносной доли секунды, когда он с полным желанием, с полным отказом от всяких желаний, с полной готовностью решился упасть с борта, упасть в лоно матери, в объятия бога, — с этого мига умирание уже не имело значения. Ведь все было так просто, ведь все было так на диво легко, не было больше никаких пропастей, никаких трудностей. Вся штука была — решиться упасть! Это ярко вспыхнуло в нем как итог его жизни — решиться упасть! Стоило только это сделать, стоило только поддаться, отдаться, сдаться, стоило только отказаться от всяких опор, от всякой твердой почвы под ногами, стоило только послушаться голоса собственного сердца — и все уже было выиграно, все было хорошо, не было больше ни страха, ни опасностей.

Это было достигнуто, это великое, единственное: он решился упасть! То, что он решился упасть в воду и в смерть, не было необходимо, с таким же успехом он мог бы решиться упасть в жизнь. Но от этого мало что зависело, важно это не было. Он был бы жив, он вернулся бы. Но тогда ему уже не нужно было бы ни самоубийства, ни всех этих странных обходных путей, ни всех этих утомительных и мучительных глупостей, ибо тогда он преодолел бы страх.

Чудесная мысль: жизнь без страха! Преодолеть страх — вот блаженство, вот избавление. Как страдал он всю жизнь от страха, а сейчас, когда смерть уже схватила его за горло, он не чувствовал ни страха, ни ужаса, только улыбку, только избавление, только согласие с происходящим. Он вдруг понял, что такое страх, понял, что преодолеть его может только тот, кто его познал. Ты страшился тысячи вещей, страшился боли, судей, собственного сердца, страшился сна, пробуждения, одиночества, холода, безумия, смерти — особенно смерти. Но все это были лишь маски, лишь видимости. На самом деле страшило тебя только одно — решиться упасть, сделать шаг в неизвестное, маленький шаг через все существующие предосторожности. И кто хоть раз, хоть

один-единственный раз отдавался, оказывал великое доверие, полагался на судьбу, тот обретал свободу. Он уже не подчинялся земным законам, он падал в мировое пространство и кружился в хороводе светил. Вот как обстояло дело. Это было очень просто, любой ребенок мог это понять, мог это узнать.

Он не умом так думал, он этим жил, это чувствовал, ощущал это на ощупь, на вкус и нюхом. Ощущал нюхом и на вкус, видел и понимал, что такое жизнь. Он видел сотворение мира, видел гибель мира, они, как два войска, постоянно двигались навстречу друг другу, никогда не завершаясь, вечно в пути. Мир непрестанно рождался и умирал непрестанно. Каждая жизнь была выдохом бога. Каждая смерть была вдохом бога. Кто научился не сопротивляться, решался упасть, тот легко умирал, легко рождался. Кто сопротивлялся, тот страдал от страха, умирал трудно, рождался нехотя.

В серой пелене дождя над ночным озером утопавший видел отраженную картину игры мироздания. Солнца и звезды восходили и заходили, сонмы людей и животных, духов и ангелов стояли друг против друга, пели, молчали, кричали, вереницы существ тянулись друг другу навстре-

чу, и каждое не осознавало себя, ненавидело само себя, ненавидело и преследовало себя в каждом другом существе. Тосковали они все о смерти, о покое, их целью был бог, было возвращение к богу и пребывание в боге. Эта цель порождала страх, ибо была заблуждением. Не было на свете никакого пребывания в боге! Никакого покоя на свете не было! Были только вечные, вечные, великолепные, священные выдохи и вдохи, созидание и распад, рождение и смерть, исход и возврат, без перерыва, без конца. И потому было на свете только одно Искусство, была только одна Наука, только одна Тайна: решиться упасть, не противиться воле бога, ни за что не цепляться, ни за добро, ни за зло. Тогда ты избавлен, тогда ты свободен от страдания, свободен от страха, только тогда.

Его жизнь лежала перед ним как местность с лесами, долинами и селами, которую обозреваешь с гребня высоких гор. Все было сначала хорошо, просто и хорошо, и все из-за его страха, из-за его строптивости превратилось в муку и сложность, в страшные сгустки и спазмы горя и бед! Нет на свете женщины, без которой нельзя прожить, — и нет женщины, с которой нельзя ужиться. Нет на свете ни одной вещи, которая

не была бы такой же прекрасной, такой же желанной, могла бы так же осчастливить тебя, как ее противоположность! Блаженство жить, блаженство умереть, стоит лишь тебе повиснуть одному в космосе. Покоя снаружи нет, нет покоя на кладбище, нет покоя в боге, никакое волшебство никогда не прервет вечную цепь рождений, бесконечную череду вздохов бога. Но есть другой покой, найти который можно внутри самого себя. Имя ему: решись упасть! Не противься! Умри с радостью! Живи с радостью!

Все ипостаси его жизни были с ним, все лики его любви, все видоизменения его страдания. Его жена была чиста и невиновна, как и он сам, Терезина улыбалась детской улыбкой. Убийца Вагнер, чья тень так широко упала на жизнь Клейна, задумчиво улыбался ему, и эта улыбка говорила, что и злодеяние Вагнера было тоже путем к избавлению, что и оно было вздохом, и оно — символом, что убийство, кровь, мерзость — это не подлинно существующие вещи, а лишь оценки нашей собственной, терзающей себя души. С вагнеровским убийством он, Клейн, жил годы, отвергая и одобряя, осуждая и восхищаясь, ненавидя и подражая, он сотворил себе из этого убийства бесконечные цепи мук, страхов,

горя. Сотни раз присутствовал он со страхом при собственной смерти, видел себя на эшафоте, чувствовал, как перерезает ему шею бритва, как входит пуля ему в висок, — а теперь, когда внушавшая страх смерть действительно пришла, умирать так легко, так просто, это радость и торжество! Ничего на свете не надо бояться, ничего не страшно — только в безумии мучим мы себя всеми этими ужасами, только в собственной нашей запуганной душе возникают добро и зло, ценность и ничтожность, вожделение и болезнь.

Фигура Вагнера растаяла где-то вдали. Он не Вагнер, уже нет, никакого Вагнера не существует, это все был обман. Так пусть Вагнер и умирает! Он, Клейн, будет жить.

Вода лилась ему в рот, и он пил. Со всех сторон, через все органы чувств в него лилась вода, все растворялось. Его всасывали, его вдыхали в себя. Рядом с ним, вплотную к нему, сплотившись, как капли в воде, плыли другие люди, плыла Терезина, плыл старый певец, плыла его, Клейна, бывшая жена, плыли его отец, мать, сестра и тысячи, тысячи других людей, а также дома и картины, Венера Тициана и Страсбургский собор, все уплывало, тесно сплотившись, чудовищным потоком, гонимое необходимостью, все быстрей

и неистовей — и навстречу этому чудовищному, неистовому, огромному потоку творений несся другой поток, чудовищный, неистовый, поток лиц, ног, животов, животных, цветов, мыслей, убийств, самоубийств, написанных книг, пролитых слез, густой, могучий поток, детские глаза, и черные кудри, и рыбьи головы, женщина с длинным застывшим ножом в кровавом животе, молодой человек, похожий на него самого, с полным священной страсти лицом, это был он сам, двадцатилетний, пропавший без вести тогдашний Клейн! Как хорошо, что и это ему довелось узнать — что времени не существует! Единственное, что стоит между старостью и молодостью, между Вавилоном и Берлином, между добром и злом, между тем, что даришь, и тем, что отнимаешь, единственное, что наполняет мир различиями, оценками, страданием, спорами, войнами, — это человеческий ум, молодой, яростный и жестокий человеческий ум в состоянии бурной молодости, еще далекий от знания, еще далекий от бога. Он придумывает противоречия, он придумывает названия. Он называет одни вещи прекрасными, другие безобразными, одни — хорошими, другие — плохими. Одна часть жизни зовется любовью, другая — убийством. Вот

до чего этот ум молод, безрассуден, смешон. Одна из его выдумок — время. Хитрая выдумка, тонкое орудие, чтобы еще сильнее мучить себя, чтобы сделать мир многообразным и трудным! От всего, чего человек жаждет, он всегда отделен только временем, только этим временем, этой сумасшедшей выдумкой! Оно — одна из опор, один из мостов, которые надо прежде всего упразднить, если хочешь свободы.

Не останавливался вселенский поток форм, вбираемый в себя богом, и другой, встречный, выдыхаемый, Клейн видел особей, которые сопротивлялись течению, отчаянно барахтались и навлекали на себя ужасные муки: героев, преступников, безумцев, мыслителей, любящих, верующих. Видел и других, легко и быстро, подобно ему самому, несшихся по течению в сладострастном восторге готовности и самоотдачи, блаженных, как он. Из пения блаженных и из нескончаемого вопля злосчастных над обоими потоками выстраивался прозрачный свод, как бы купол из звуков, храм из музыки, посреди которого, в вечно кипящих волнах музыки вселенского хора, восседал бог, яркая, невидимая из-за яркости сияющая звезда, воплощение света.

Герои и мыслители высовывались из потока,

пророки, провозвестники. «Вот он, Господь Бог, и путь его ведет к миру!» — восклицал один, и многие следовали за ним. Другой заявлял, что стезя бога ведет к борьбе и войне. Один называл его светом, другой — ночью, третий — отцом, четвертый — матерью. Один восхвалял его как покой, другой — как движение, как огонь, как холод, как судью, как утешителя, как творца, как ниспровергателя, как дарующего прощение, как мстителя. Сам бог никак не называл себя. Он хотел, чтобы его называли, чтобы его любили, чтобы его восхваляли, проклинали, ненавидели, обожали, ибо музыка вселенского хора была его обиталищем и его жизнью, — но ему было все равно, какими словами его восхваляют, любят ли его или ненавидят, ищут ли у него покоя и сна или пляски и неистовства. Каждому вольно было искать. Каждому вольно было находить.

Тут Клейн услышал свой собственный голос. Он пел. Он громко пел новым, сильным, звонким, звучным голосом, громко и звучно пел хвалу богу, величал бога. Он пел, уносимый неистовым потоком, среди миллионов созданий, пророк и провозвестник. Громко звенела его песня, высоко поднимался свод звуков, и в этом своде восседал и сиял бог. Потоки, клокоча, неслись дальше.

Последнее лето Клингзора

Предисловие

Последнее лето своей жизни художник Клингзор, сорока двух лет, провел в тех южных краях близ Пампамбьо, Карено и Лагуно, которые он и в прежние годы любил и часто навещал. Там родились его последние картины, те вольные переложения явлений мира, те странные, яркие и все-таки тихие, мечтательно-тихие картины с изогнутыми деревьями и похожими на растения домами, которые знатоки предпочитают картинам его «классического» периода. В его палитре было тогда всего несколько красок, очень ярких: желтый и красный кадмий, зеленая «веронезе», изумрудная, кобальт, фиолетовый кобальт, французская киноварь и гераневый лак.

Весть о смерти Клингзора ужаснула его друзей поздней осенью. В некоторых его письмах проглядывало предчувствие или желание смерти. Отсюда, наверно, возник слух, будто он покончил с собой. Другие слухи — они ведь всегда пристают к именам, вызывающим споры, — не менее беспочвенны, чем этот. Многие утверждают,

будто Клингзор уже несколько месяцев страдал душевной болезнью, и один не очень умный искусствовед пытался объяснить поразительную восторженность его последних картин этим мнимым безумием! Больше оснований, чем эта болтовня, имеет богатая анекдотами молва о тяге Клингзора к алкоголю. Такая тяга у него была, и никто не называл ее по имени чистосердечнее, чем он сам. В определенные периоды, и в частности в последние месяцы жизни, он не только испытывал радость от возлияний, но и сознательно искал опьянения, чтобы заглушить свои боли и часто невыносимую тоску. Ли Тай Пе, сочинитель очень глубоких застольных песен, был его любимцем, и в хмелю он часто называл самого себя Ли Тай Пе, а одного из своих друзей — Ту Фу.

Его произведения продолжают жить, и по-прежнему жива в узком кругу его близких легенда о его жизни и о том последнем лете.

Клингзор

Наступило какое-то страстное и быстротечное лето. Жаркие дни, сколь ни были они долги, отгорали как пламенные флаги, за короткими душными лунными ночами следовали короткие душные ночи с дождем; стремительно, как сны,

и также переполненные картинами, уносились блестящие, лихорадочные недели.

После полуночи, вернувшись домой с ночной прогулки, Клингзор стоял на узком каменном балконе своей мастерской. Под ним головокружительно спускались террасы старого сада, беспросветного столпотворения густых крон, пальм, кедров, каштанов, цёрцисов, буков, эвкалиптов, опутанных вьющимися растениями, лианами, глициниями. Над чернотой деревьев белесыми бликами мерцали большие жестяные листья магнолий с полузакрытыми огромными, белоснежными, с человеческую голову, бледными, как луна и слоновая кость, цветками, от которых легко и мощно поднимался густой лимонный дух. Откуда-то издалека усталыми всплесками долетала музыка, гитара, пианино ли, нельзя было разобрать. Где-то в птичнике вдруг вскрикнул павлин, дважды и трижды, прорвав лесистую ночь коротким, злым и тупым звуком своего несчастного голоса, словно вся боль животного царства надрывно грянула из сокровенных глубин. Свет звезд тек по лесной долине, высоко и одиноко белела над бескрайним лесом часовня, зачарованная и древняя. Озеро, горы и небо неразличимо сливались вдали.

Клингзор стоял на балконе в рубашке, опершись голыми до локтя руками на железные перила, и мрачновато-горячими глазами читал письмена звезд на бледном небе и тусклых бликов на черных клубах деревьев. Павлин напомнил ему.

Да, опять была ночь, было поздно, и следовало уснуть, непременно, любой ценой. Наверно, если бы действительно поспать несколько ночей по-настоящему, часов по шести, по восьми, можно было бы отдохнуть, глаза стали бы снова послушны и терпеливы, а сердце спокойнее и прекратилась бы боль в висках. Но тогда прошло бы это лето, прошел бы этот сумасшедший сверкающий летний сон, и с ним опорожнились бы тысячи невыпитых чаш, остыли бы тысячи неувиденных любовных взглядов, погасли бы, неувиденные, тысячи неповторимых картин!

Он прижался лбом и болящими глазами к прохладным перилам, от этого на миг стало легче. Через год, может быть, а то и раньше эти глаза ослепнут, и огонь в его сердце потухнет. Нет, никто долго не вынесет этой пылающей жизни, даже он, даже Клингзор, которому дано десять жизней. Никто не может все время днем и ночью гореть всеми своими огнями, всеми своими

вулканами, никто не может дольше какого-то короткого срока днем и ночью пылать пламенем, каждый день по многу часов в жгучем труде, каждую ночь по многу часов в жгучих мыслях, непрестанно наслаждаясь, непрестанно творя, всегда, всеми своими чувствами и нервами, оставаясь светлым и бессонным, как замок, за всеми окнами которого день за днем гремит музыка, ночь за ночью сверкают тысячи свечей. Дело идет к концу, растрачено уже много сил, сожжено много света глаз, истекла кровью изрядная доля жизни.

Внезапно он рассмеялся и выпрямился. Его осенило: не раз уже он так чувствовал, так думал, так боялся. Во все хорошие, плодотворные, пылающие времена своей жизни, уже и в юности, он жил так же, позволяя своей свече гореть с обоих концов, жил то с ликующим, то с надрывным чувством буйного, сжигающего расточительства, с отчаянной жадностью осушить чашу до дна и с глубоким, затаенным страхом перед концом. Не раз уже он так жил, не раз осушал чашу, не раз полыхал ярким пламенем. Иногда конец бывал ласков, как глубокий, без памяти, зимний сон. Иногда он бывал ужасен, бессмысленная опустошенность, нестерпимые боли, врачи,

печальное прозябание, торжество слабости. Во всяком случае, с каждым разом конец горенья становился все хуже, все печальнее, все разрушительнее. Но и это всегда превозмогалось, и через сколько-то недель или месяцев после мук или тупости наступало воскресение, начинался новый пожар, новый взрыв подземного огня, начинались новые жгучие труды, новая блестящая опьяненность жизнью. Так бывало, и периоды муки и прозябания, плачевные промежуточные периоды, забывались и уходили в небытие. И хорошо. Уладится, как не раз улаживалось.

Он с улыбкой подумал о Джине, которую видел сегодня вечером, с которой играли его нежные мысли в течение всего ночного пути домой. Какой красивой, какой теплой была эта девушка в своей еще неопытной и боязливой пылкости! Играя, он с нежностью произнес, как будто снова шептал ей в ухо:

— Джина! Джина! Cara[7] Джина! Carina[8] Джина! Bella[9] Джина!

---

[7] notes: 7
Дорогая *(ит.).*

[8] notes: 8
Милая (*ит.*).

[9] notes: 9
Прекрасная *(ит.).*

Он вернулся в комнату и снова включил свет. Из беспорядочной кучки книг он вытащил красный том стихов; ему вспомнилось одно стихотворение, вернее, кусок стихотворения, показавшийся ему несказанно прекрасным и полным любви. Он долго искал, пока не нашел:

В ночной тоске, во тьме унылой
Не оставляй меня, молю,
Моя звезда, мой светоч милый,
Лицо, которое люблю!

С глубоким наслаждением впивал он темное вино этих слов. Как это было прекрасно, как проникновенно и волшебно: «Мой светоч милый»! И «не оставляй меня, молю»!

Он, улыбаясь, ходил взад и вперед перед высокими окнами, читал вслух стихи, говорил их далекой Джине: «Не оставляй меня, молю!» — и его голос становился глухим от нежности.

Потом он отпер этюдник, который после долгого рабочего дня носил с собой и весь вечер. Он открыл альбом для эскизов, маленький, самый любимый, и отыскал последние листы, вчерашние и сегодняшние. Вот конус горы с густыми тенями скал; он сделал ее очень похожей на гримасу, гора, казалось, кричала, выла от боли.

Вот маленький каменный колодец, полукругом на склоне горы, изгиб кладки наполнен дочерна тенями, над ним кровавое пламя цветущего граната. Все понятно только ему, тайнопись только для него самого, торопливо-жадная запись мгновенья, поспешно схваченная память о каждой минуте, когда природа и сердце по-новому и громко звучали в лад. А вот и большие эскизы в красках, белые листы с яркими акварелями: красная вилла в роще, пылающая как рубин на зеленом бархате, и железный мост близ Кастильи, красный на сине-зеленой горе, рядом фиолетовая плотина, розовая дорога. Дальше: труба кирпичного завода, красная ракета перед прохладно-светлой зеленью листвы, синий дорожный указатель, светло-фиолетовое небо с густым, словно бы вальцованным облаком. Этот лист был хорош, это могло остаться. Жаль было въезда к сараю, красно-бурость на фоне стального неба удалась, это говорило и звучало; но до конца не было доведено, солнце упало тогда на лист и вызвало безумную боль в глазах. Он долго потом окунал лицо в ручей. Что ж, красно-бурость на фоне недоброй металлической синевы получилась, это было хорошо, тут ни в малейшем оттенке, ни в малейшей линии не было ни фальши, ни

неудачи. Без капут мортуум это не вышло бы. Тут, в этой области, таились тайны. Формы натуры, ее верх и низ, ее утолщения и утончения можно смещать, можно отказаться от всех простодушных средств, которыми подражают природе. И краски тоже можно фальсифицировать, конечно, их можно усиливать, приглушать, передавать на сотни ладов. Но если хочешь воссоздать краской какую-то часть природы, то надо, чтобы между несколькими красками было точно то же соотношение, в точности то же напряжение, что и в природе. Тут остаешься зависим, тут остаешься натуралистом пока что, даже если вместо серой кладешь оранжевую, а вместо черной краплак.

Итак, опять прошел день, а сделано мало. Лист с фабричной трубой да красно-синий тон на другом листе и, может быть, эскиз с колодцем. Если завтра будет пасмурно, он отправится в Карабину; там есть зал с прачками. Может быть, снова зарядит дождь, тогда он останется дома и начнет писать маслом ручей. А теперь в постель! Опять уже второй час.

В спальне он скинул рубашку, облился до пояса водой, расплескав ее по красному каменному полу, влез на высокую кровать и погасил свет. В окно заглядывала бледная Монте-Салюте, тыся-

чи раз уже Клингзор разглядывал в постели ее очертания. Крик совы в лесном ущелье, низкий и глухой, как сон, как забвение.

Он закрыл глаза и подумал о Джине и о зале с прачками. Бог ты мой, тысячи и тысячи вещей ждали, тысячи и тысячи чаш стояли неналитые! Не было на земле такой вещи, которую не стоило бы написать! Не было на свете такой женщины, которую не стоило бы любить! Почему существует время? Почему всегда только эта идиотская последовательность, а не бурная, насыщенная одновременность? Почему он лежит сейчас снова один в постели, как вдовец, как старик? Всю короткую жизнь напролет можно наслаждаться, можно творить, а поешь всегда только одну песню за другой, целиком симфония никогда не звучит одновременно всеми сотнями своих инструментов и голосов.

Давно, в возрасте двенадцати лет, он был Клингзором с десятью жизнями. Мальчики тогда играли в разбойников, и у каждого из разбойников было по десяти жизней, одну из которых он терял каждый раз, когда преследователь прикасался к нему рукой или копьем. С шестью, с тремя, даже с одной-единственной жизнью можно было еще освободиться и спастись, только с десятой ты

проигрывал все. А он, Клингзор, гордо старался пробиться со всеми, со всеми десятью своими жизнями и считал это позором, когда уходил с девятью или с семью. Таким он был в детстве, в ту невероятную пору, когда на свете не было ничего невозможного, ничего трудного, когда Клингзора все любили, когда Клингзор всеми повелевал, когда Клингзору все на свете принадлежало. И так он продолжал вести себя и жил всегда десятью жизнями. И хотя насытиться, хотя добиться всей бурной симфонии сразу никогда не удавалось, жизнь его все-таки не была однозвучной и бедной, у него в музыке всегда было побольше, чем у других, струн, в огне — побольше подков, побольше монет в суме, побольше коней в упряжке! Слава богу!

С какой полнотой и силой, словно дыхание спящей женщины, вливалась в комнату темная тишина сада! Как кричал павлин! Как горел огонь в груди, как билось сердце, и кричало, и страдало, и ликовало, и кровоточило! Хорошее было все-таки лето здесь наверху в Кастаньетте, славно жилось ему в его старой барской развалине, славно было глядеть вниз на мохнатые спины сотен каштановых рощ, прекрасно было время от времени жадно спускаться из этого бла-

городного старого мира лесов и замков, глядеть на веселые цветные игрушки внизу и писать их, писать их веселую, добрую яркость: фабрику, железную дорогу, синий трамвай, тумбы с афишами на набережной, гордо шествующих павлинов, женщин, священников, автомобили. И как прекрасно, и мучительно, и непонятно было это чувство в груди, эта любовь, трепещущая жадность к каждому пестрому лоскуту жизни, эта сладкая, неистовая потребность смотреть и создавать и одновременно втайне, под тонкими покровами, глубокое знание ребячливости и бренности всех его дел! Лихорадочно уплывала короткая летняя ночь, из зеленых глубин долины поднимался туман, в тысячах деревьев кипели соки, тысячи снов набухали в легкой дремоте Клингзора, душа его шествовала по зеркальному залу его жизни, где все картины, умножаясь, встречались каждый раз с новым лицом и новым значением и входили в новые связи, словно кто-то перетряхивал в стакане для игральных костей звездное небо.

Одно сновидение из множества восхитило его и потрясло. Он лежал в лесу, а на лоне его женщина с рыжими волосами, а на плече лежала черная, а еще одна стояла рядом на коленях, держала его

руку и целовала его пальцы, и везде вокруг были женщины, и девушки, и девочки еще с тонкими длинными ногами, и в полном расцвете, и зрелые с печатью знания и усталости на дергающихся лицах, и все любили его, и все хотели, чтобы он их любил. И тут между женщинами вспыхнула война, рыжая неистово вцепилась в волосы черной, стащила ее наземь, свалилась сама, и все бросились друг на друга, каждая кричала, каждая тащила кого-то, каждая кусалась, каждая причиняла боль, каждой было больно самой, смех, крики ярости, стоны звучали наперебой и сливались, везде текла кровь, ногти кроваво впивались в нежную плоть.

С чувством тоски и подавленности Клингзор минутами просыпался, глаза его, широко раскрываясь, вперялись в светлое пятно на стене. Перед его взором еще стояли беснующиеся женщины, многих из них он знал и называл по имени — Нина, Термина, Элизабет, Джина, Эдит, Берта — и хриплым голосом, еще во сне, говорил: «Девочки, перестаньте! Вы же врете, вы же врете мне. Не друг друга должны вы терзать, а меня, меня!»

Луи

Луи Жестокий свалился как снег на голову, вдруг он оказался здесь, старый друг Клингзора, непоседа, от которого можно было ждать всего, который жил в поездах и чья мастерская помещалась в походном мешке. Славные часы капали с неба этих дней, славные дули ветры. Они писали вместе на Масличной горе и в Карфагене.

— Стоит ли вообще чего-то вся эта живопись? — сказал Луи на Масличной горе, лежа нагишом в траве, с красной от солнца спиной. — Ведь пишут только faute de mieux[10], дорогой. Если бы у тебя всегда была на коленях девушка, которая тебе как раз сейчас нравится, а в тарелке суп, которого тебе сегодня хочется, ты не изводил бы себя этой безумной чепухой. У природы десять тысяч красок, а нам втемяшилось свести всю гамму к двадцати. Вот что такое живопись. Доволен никогда не бываешь, а приходится еще подкармливать критиков. А хорошая марсельская уха, caro mio[11], да к ней стаканчик прохладного

---

[10] notes: 10
за неимением лучшего *(фр.).*

[11] notes: 11
дорогой мой *(ит.).*

бургундского, а потом миланский шницель, а на десерт груши, да еще чашечка кофе по-турецки — это реальность, сударь мой, это ценности! Как скверно едят здесь, в ваших палестинах! Ах бог ты мой, хотел бы я сейчас оказаться под вишней и чтобы ягоды лезли мне прямо в рот, а как раз надо мной на стремянке стояла бы та смуглая ядреная девица, которую мы встретили сегодня утром. Клингзор, хватит писать! Приглашаю тебя на хороший обед в Лагуно, скоро уже пора.

— Правда? — спросил Клингзор, прищурившись.

— Правда. Только сперва мне нужно ненадолго зайти на вокзал. По правде сказать, я телеграфировал одной знакомой, что я при смерти, и она может в одиннадцать часов явиться сюда.

Клингзор со смехом снял с доски начатый этюд.

— Ты прав, дорогой, пошли в Лагуно! Надень рубашку, Луиджи. Здешние нравы отличаются большой невинностью, но голым в город тебе, к сожалению, идти нельзя.

Они пошли в городок, они зашли на вокзал, приехала красивая женщина, они прекрасно обедали в ресторане, и Клингзор, совсем отвыкший от этого за свои сельские месяцы, удивлялся,

что все эти вещи, эти милые веселые вещи еще существуют: форель, лососина, спаржа, шабли, валлисское доль, бенедиктин.

После обеда они втроем поехали вверх по канатной дороге через обрывистый город, поперек домов, мимо окон и висячих садов, было очень красиво, они остались на своих местах и съездили снова вниз, и еще раз вверх, и опять вниз. На редкость прекрасен и странен был мир, очень красочен, чуть-чуть подозрителен, чуть-чуть неправдоподобен, но на диво красив. Только Клингзор был несколько скован, он подчеркивал свое равнодушие, боясь влюбиться в приятельницу Луиджи. Они сходили еще раз в кафе, сходили в пустой полуденный парк, полежали у воды под исполинскими деревьями. Много видели они такого, что следовало написать: красные, из драгоценного камня дома в густой зелени, змеиные крушины и скумпии, синие и ржавые.

— Ты писал очень славные и веселые вещи, Луиджи, — сказал Клингзор, — я все это очень люблю — флагштоки, клоунов, цирк. Но больше всего мне нравится одно пятно на той твоей картине, где карусель ночью. Помнишь, там у тебя над фиолетовым шатром, вдалеке от всех этих огней, высоко вверху вьется маленький прохлад-

ный флажок, светло-розовый, такой прекрасный, такой прохладный, такой одинокий, такой до ужаса одинокий! Это как стихотворение Ли Тай Пе или Поля Верлена. В этом маленьком дурацком розовом флажке — вся боль и все бессилие мира и вместе с тем — весь добрый смех над болью и над бессилием. Написав этот флажок, ты оправдал свою жизнь, я считаю его огромной твоей заслугой, этот флажок.

— Да, я знаю, что ты любишь его.

— Ты и сам любишь. Понимаешь, не напиши ты нескольких таких штук, тебе не помогли бы ни хорошие обеды, ни ви́на, ни бабы, ни кофе, ты был бы бедняком. А так ты богач, парень хоть куда. Знаешь, Луиджи, я часто думаю так же, как ты: все наше искусство — всего лишь замена, хлопотная, оплачиваемая в десять раз дороже замена упущенной жизни, упущенной животности, упущенной любви. Но ведь это не так! Все обстоит совершенно иначе. Мы переоцениваем чувственное, считая духовное лишь заменой чувственного за его отсутствием. Чувственное ни на йоту не ценнее, чем дух, и наоборот. Все едино, все одинаково хорошо. Обнимать женщину и писать стихи — одно и то же. Было бы только главное — любовь, горение, одержимость, и тогда

все равно — монах ли ты на горе Афон или прожигатель жизни в Париже.

Луи окинул его медленным взглядом насмешливых глаз:

— Не задирай нос, малый!

Вместе с приехавшей красавицей бродили они по округе. Видеть оба были мастера, это они умели. В окрестностях нескольких городков и деревень они видели Рим, видели Японию, видели море у экватора и сами же, играя, рассеивали эти иллюзии; их прихоть зажигала звезды на небе и тут же гасила их. В роскошные ночные небеса пускали они свои фейерверки; мир был мыльным пузырем, оперой, веселой чепухой.

Луи птицей носился по холмам на своем велосипеде, бывал в разных местах, а Клингзор писал. Какими-то днями Клингзор жертвовал, потом снова ожесточенно сидел на воздухе и работал. Луи не захотел работать. Луи внезапно уехал вместе со своей приятельницей, прислал открытку откуда-то издалека. Вдруг он опять появился, когда Клингзор поставил уже на нем крест, встал в дверях в соломенной шляпе и открытой рубашке, словно никуда не исчезал. Еще раз попил Клингзор из сладчайшей чаши своей молодости вино дружбы. Много было у него

друзей, многие любили его, многих он одаривал, многим открывал свое быстрое сердце, но только двое из друзей слышали из его уст и в то лето прежний зов сердца: художник Луи и поэт Герман по прозвищу Ту Фу.

В иные дни Луи сидел в поле на своем складном стульчике, или в тени груши, или в тени сливы и не работал. Он сидел и думал и, прикрепив бумагу к палитре, писал, много писал, писал множество писем. Счастливы ли люди, которые пишут так много писем? Он писал напряженно, Луи Беззаботный, его взгляд был часами мучительно прикован к бумаге. Многое, о чем он молчал, не давало ему покоя. Клингзор любил его за это.

Иначе вел себя Клингзор. Он не умел молчать. Он не мог скрывать того, что у него на сердце. В тайные беды своей жизни, о которых мало кто знал, он самых близких все-таки посвящал. Он часто страдал от страха, от тоски, часто проваливался в яму мрака, порой тени из прежней его жизни падали, разросшись, на его дни и делали их черными. Тогда для него было облегчением увидеть лицо Луиджи. Тогда он, случалось, жаловался ему.

А Луи не любил этих приступов слабости. Они мучили его, они требовали сочувствия. Клингзор

привык изливать душу другу и слишком поздно понял, что из-за этого теряет его.

Луи снова заговорил об отъезде. Клингзор знал, что задержит его на сколько-то дней, на три дня, на пять дней; но внезапно Луи покажет ему уложенный чемодан и уедет, чтобы опять долго не появляться. Как коротка была жизнь, как безвозвратно все было! Единственного из своих друзей, который целиком понимал его искусство, единственного, чье искусство было близко и по плечу его собственному, он испугал и обременил, расстроил и охладил всего лишь из-за глупой слабости и распущенности, из-за детской, неприличной потребности не стесняться друга, ничего от него не утаивать, не держать себя в руках при нем. Какая это была глупость, какое ребячество! Так корил себя Клингзор, слишком поздно.

В последний день они вместе бродили по золотым долинам, Луи был в очень хорошем расположении духа, отъезд был истинной радостью для его сердца птицы. Клингзор держался соответственно, они снова нашли прежний, легкий, игривый и насмешливый тон и больше не теряли его. Вечером они сидели в саду трактира. Они попросили зажарить рыбу, сварить рис с грибами и запивали персики мараскином.

— Куда ты поедешь завтра? — спросил Клингзор.

— Не знаю.

— К той красавице?

— Да. Может быть. Кто это знает? Не расспрашивай меня. Давай-ка сейчас, под конец, выпьем еще хорошего белого вина. Я за невшатель.

Они выпили; вдруг Луи воскликнул:

— Хорошо, что я хоть уеду, старый тюлень! Когда я иной раз сижу рядом с тобой, вот так, как сейчас, например, мне вдруг приходят в голову какие-то глупости. Мне приходит в голову, что вот здесь сидят те два художника, которые только и есть у нашего славного отечества, и тогда у меня появляется отвратное ощущение в коленях — словно мы оба из бронзы и должны стоять, взявшись за руки, на пьедестале, понимаешь, как Гёте и Шиллер. Они же тоже не виноваты, что должны вечно стоять, держа друг друга за бронзовые руки, и что постепенно стали нам так неприятны и ненавистны. Может быть, они были отличные ребята, милейшие парни, я как-то прочел одну пьесу Шиллера, это было совсем недурно. И все же так вышло, что он сделался знаменитостью и должен стоять рядом со своим сиамским близнецом, две гипсовые головы ря-

дом, и везде видишь их собрания сочинений, и их проходят в школах. Это ужасно. Представь себе, через сто лет какой-нибудь профессор будет вещать гимназистам: Клингзор, родился в 1877 году, и его современник Луи, прозванный Обжорой, новаторы живописи, освобождение от натурализма цвета, при ближайшем рассмотрении эта пара распадается на три четко различимых периода! Уж лучше прямо сегодня под паровоз.

— Разумнее бы отправить туда профессоров.

— Таких больших паровозов не бывает. Ты же знаешь, как мелкотравчата наша техника.

Уже появились звезды. Вдруг Луи стукнул стаканом о стакан друга.

— Ну вот, чокнемся и выпьем. А потом я сяду на свой велосипед и adieu. Без долгого прощания! Хозяину заплачено. Будем здоровы, Клингзор!

Они чокнулись и выпили, в саду Луи вскочил на велосипед, помахал шляпой, исчез. Ночь. Звезды. Луи был в Китае. Луи был легендой.

Клингзор грустно улыбнулся. Как он любил эту перелетную птицу! Он долго стоял в усыпанном гравием саду трактира, глядя вниз на пустую улицу.

День Карено

Вместе с друзьями из Баренго, а также с Агосто и Эрсилией Клингзор отправился пешком в Карено. Утром, сквозь душистую таволгу, мимо дрожащих, еще покрытых росой паутинок на опушках, они спустились через обрывистый лес в долину Пампамбьо, где у желтой дороги, оглушенные летним днем, полумертвые, спали, наклонившись вперед, яркие желтые дома, а у высохшего ручья белые металлические ивы нависали тяжелыми крыльями над золотыми лугами. Красочно плыл караван друзей по розовой дороге сквозь подернутую дымкой тумана зелень долины: белые и желтые, в полотне и шелке мужчины, белые и розовые женщины, и великолепный, цвета «веронезе», зонтик Эрсилии сверкал как драгоценный камень в волшебном кольце.

Доктор меланхолически сетовал доброжелательным голосом:

— Ужасно жаль, Клингзор, через десять лет все ваши чудесные акварели выцветут; все эти ваши излюбленные краски нестойки.

Клингзор:

— Да, и хуже того: ваши прекрасные каштановые волосы, доктор, будут через десять лет

сплошь седыми, а чуть позже наши милые веселые кости будут лежать где-нибудь в яме, в земле, — к сожалению, и ваши тоже, Эрсилия, такие прекрасные и здоровые кости. Ребята, давайте не будем благоразумны под конец жизни. Герман, что говорит Ли Тай Пе?

Герман, поэт, остановился и прочел:

Жизнь проходит, как луч молнии,
Блеск его нельзя увидеть —
он слишком короток,
Вечно стоят неподвижно земля и небо,
Но как быстро летит, изменяясь,
время по лику людей.
Зачем же за полной чашей
сидишь и не пьешь,
Кого еще ждешь ты, скажи?

— Нет, — сказал Клингзор, — я имел в виду другие стихи, с рифмами, о кудрях, которые еще утром были темные.

Герман тут же прочел эти стихи:

Утром кудри, словно черный шелк,
блестели,
Вечером они белеют сединой.

Чтобы не страдать, пока есть силы в теле,

Чашу поднимай и чокайся с луной.

Клингзор громко рассмеялся своим хриплым голосом:

— Молодец Ли Тай Пе! Он кое о чем догадывался, он многое знал. Мы тоже многое знаем, он наш старый умный брат. Этот упоительный день ему бы понравился, это как раз такой день, на исходе которого хорошо умереть смертью Ли Тай Пе, в лодке на тихой реке. Увидите, сегодня все будет чудесно.

— Что же это за смерть, которой умер на реке Ли Тай Пе? — спросила художница.

Но Эрсилия перебила, вмешавшись своим добрым грудным голосом:

— Нет, перестаньте! Кто скажет еще хоть слово о смерти, того я больше не люблю. Finisca adesso, brutto[12] Клингзор!

Клингзор, смеясь, подошел к ней.

— Как вы правы, bambina[13]! Если я скажу еще хоть слово о смерти, можете выколоть мне своим

---

[12] notes: 12
Перестань, противный *(ит.).*

[13] notes: 13
деточка *(ит.).*

зонтиком оба глаза. Но в самом деле, сегодня чудесно, дорогие! Сегодня поет птица, это сказочная птица, я уже слышал ее утром. Сегодня дует ветерок, это сказочный ветерок, это неба сынок, он будит спящих принцесс и вытряхивает ум из голов. Сегодня цветет цветок, это сказочный цветок, он синий и цветет один раз в жизни, и кто его сорвет, тот блажен.

— Он хочет что-то этим сказать? — спросила Эрсилия доктора. Клингзор услышал ее вопрос.

— Я хочу сказать вот что: этот день никогда не вернется, и кто его не вкусит, не выпьет, не насладится его вкусом и благоуханием, тому его во веки веков не предложат второй раз. Никогда солнце не будет светить так, как сегодня, оно находится на небе в определенном положении, в определенной связи с Юпитером, со мной, с Агосто, с Эрсилией и со всеми, в связи, которая никогда, и через тысячу лет, не повторится. Поэтому я хочу сейчас — ибо это приносит счастье — идти некоторое время слева от вас и нести ваш изумрудный зонтик, в свете которого моя голова будет походить на опал. Но и вы тоже должны участвовать, должны спеть песню, что-нибудь из ваших лучших.

Он взял Эрсилию под руку, его резко очерчен-

ное лицо мягко окунулось в синезеленую тень зонтика, в который он был влюблен и приятно ярким цветом которого восхищался.

Эрсилия запела:

Il mio papa non vuole,
Chio spos un bersaglier...[14]

Присоединились другие голоса, все с пеньем шагали до леса и по лесу, пока подъем не стал слишком тяжел; дорога вела, как стремянка, круто вверх через папоротники по высокой горе.

— Как замечательно прямолинейна эта песня! — похвалил Клингзор. — Папа против влюбленных, как это всегда с ним бывает. Они берут нож, который хорошо режет, и убивают папу. Его больше нет. Они делают это ночью, никто их не видит, кроме луны, которая не выдает их, и звезд, но они молчат, и Господа Бога, но тот уж простит их. Как это прекрасно и откровенно! Сегодняшнего поэта за такое побили бы камнями.

Сквозь разорванные солнцем, играющие тени каштанов они взбирались по узкой горной дороге. Когда Клингзор поднимал глаза, он видел

---

[14] notes: 14

Мой папа не хочет,
Чтобы я вышла замуж за берсальера... (ит.)

перед собой тонкие икры художницы, розово просвечивавшие сквозь прозрачные чулки. Когда он оглядывался, над черной негритянской головой Эрсилии плыла, как купол, бирюза зонтика. Под ним она была в фиолетовом шелке, единственная темная фигура из всех.

У какого-то оранжево-синего крестьянского дома лежали на лужайке зеленые летние яблоки-паданцы, прохладные и кислые, они попробовали их. Художница мечтательно рассказывала об одной поездке по Сене в Париже когда-то до войны. Да, Париж и блаженное время!

— Оно не вернется. Никогда больше.

— И не надо! — резко воскликнул художник и сердито тряхнул четко очерченной ястребиной головой. — Ничего не должно возвращаться! Зачем? Что за детские желания! Война преобразила все, что было раньше, в какой-то рай, даже самое глупое и ненужное. Что ж, славно было в Париже, славно было в Риме, славно было в Арле. Но разве сегодня и здесь менее славно? Рай — это не Париж и не мирное время, рай здесь, он находится вон там наверху, на этой горе, и мы будем в нем через час, и мы — это разбойники, которым сказано: сегодня ты будешь со мной в раю.

Они выбрались из крапчатой тени лесной

тропы на открытую широкую проезжую дорогу; светлая и жаркая, она большими кругами вела к вершине. Клингзор, в темно-зеленых защитных очках, шел последним и часто отставал, чтобы видеть движение и цветовые сочетания фигур. Он ничего не взял с собой для работы нарочно, даже маленького блокнота, и все же сотни раз останавливался, взволнованный открывавшимися ему картинами. Одиноко стояла его тощая фигура, белая на красноватой дороге, у края акациевой рощи. Лето дышало жаром на гору. Свет стекал отвесно, сотни красок, дымясь, поднимались из глубины. Над ближайшими горами зеленых и красных тонов с белыми деревнями виднелись синеватые гряды гор, а за ними, все светлей и синей, новые и новые гряды, и совсем далеко и неправдоподобно хрустальные вершины в вечном снегу. Над лесом акаций и каштанов свободнее и мощнее выступал скалистый, в зазубринах гребень Салюте, красноватый и светло-фиалковый. Красивее всего были люди, как цветки, стояли они на свету под зеленью, как исполинский скарабей, светился изумрудный зонтик, под ним — черные волосы Эрсилии, белая стройная художница с розовым лицом и все остальные. Клингзор впивал их жадными

глазами, но мысли его были с Джиной. Он увидит ее только через неделю, она сидела в конторе в городе и писала на машинке, ему лишь изредка удавалось увидеть ее, и одну — никогда. А любил он ее, именно ее, которая понятия о нем не имела, не знала его, не понимала, для которой он был лишь какой-то редкой и странной птицей, каким-то знаменитым художником-чужеземцем. Как странно, что именно к ней привязалось его желание, что никакая другая чаша любви его не удовлетворяла. Он не привык проделывать долгие пути ради женщины. Ради Джины он их проделывал, чтобы побыть часок рядом с ней, подержать ее тонкие пальчики, подсунуть свой башмак под ее башмак, быстро поцеловать в затылок. Он размышлял, был забавной загадкой себе самому. Неужели это уже поворот? Уже старость? Неужели только это, поздняя любовь сорокалетнего к двадцатилетней? Гребень горы был достигнут, а за ним открылся глазам уже новый мир: высоко и неправдоподобно — Монте-Дженнаро, сплошь из крутых, острых пирамид и конусов, за ней наискось — солнце, каждое плато блестело эмалью, плавая на густых фиолетовых тенях. Между дальним и близким — мерцающий воздух, и бесконечно глубоко терялся узкий

синий рукав озера, прохлаждаясь за зеленым пламенем леса.

Крошечная деревня на перевале: поместье с маленьким жилым домом, четыре-пять других домов, каменные, выкрашенные в синий и розовый цвет, часовня, колодец, вишневые деревья. Общество задержалось на солнце у колодца, Клингзор прошел дальше, вошел через арку ворот в тенистую усадьбу: три высоких синеватых дома с редкими окошками, между домами трава и галька, коза, крапива. Какой-то ребенок пустился наутек, он поманил его, вынул шоколад из кармана. Ребенок остановился, Клингзор поймал его, погладил и угостил, ребенок был робкий и красивый, черная девчушка с испуганными черными глазами зверька, с голыми, стройными, блестяще-смуглыми ножками.

— Где вы живете? — спросил он, она побежала к ближайшей двери, открывшейся в ущелье домов. Из темного каменного помещения, как из пещеры первобытных времен, вышла женщина, мать ребенка, она тоже взяла шоколадку. Из грязного платья поднималась смуглая шея, лицо было крепкое, широкое, загорелое и красивое, губы широкие, полные, глаза большие, грубой, сладостной прелестью, полом и материнством

сильно и тихо веяло от крупных азиатских черт. Он совращающе склонился к ней, она с улыбкой увильнула, втиснула ребенка между ним и собой. Он пошел дальше с решимостью вернуться. Ему хотелось писать эту женщину или быть ее любовником, хотя бы лишь час. Она была всем: матерью, ребенком, возлюбленной, зверем, Мадонной.

Медленно, с сердцем, полным мечтаний, вернулся он к обществу. На каменной ограде поместья, жилой дом которого казался пустым и запертым, были укреплены старые грубые пушечные ядра, причудливая лестница вела через кусты к рощице на холме, на самом верху оказался памятник, там, вычурно и одиноко, стоял чей-то бюст, костюм Валленштейна, локоны, завитая эспаньолка. Что-то призрачное и фантастическое витало в блестящем полуденном свете вокруг этой горы, чудо притаилось настороже, мир был настроен на другую, далекую тональность. Клингзор напился у колодца, прилетел мотылек подалирий и приник к расплескавшейся по известняковому краю колодца воде.

Горная дорога шла по хребту дальше, под каштанами, под орехами, солнечная, тенистая. На одном из поворотов — придорожная часовня,

старая и желтая, в нише — поблекшие старые картины, ангельски-детская голова святого, коричневый и красный фрагмент одежды, остальное облупилось. Клингзор очень любил старые картины, когда они сами вдруг попадались на глаза, любил такие фрески, любил возврат этих прекрасных творений в прах и в землю.

Опять деревья, лозы, ослепительная, жаркая дорога, опять поворот — вот и цель похода, вдруг, нежданно-негаданно: темный проход ворот, большая, высокая церковь из красного камня, весело и самоуверенно брошенного в небо, площадь, полная солнца, пыли и покоя, докрасна выжженная трава, ломающаяся под ногами, полуденный свет, отшвыриваемый назад яркими стенами, колонна, фигура над ней, невидимая из-за напора солнца, вокруг просторной площади каменный парапет над синей бесконечностью. Дальше — деревня Карено, древняя, узкая, темная, сарацинская, мрачные каменные пещеры под выгоревшей коричневой черепицей, угнетающе, до неправдоподобия узкие, полные темноты улочки, маленькие площади как вскрики белого солнца, Африка и Нагасаки, над этим — лес, под этим — синий обрыв, наверху — белые, жирные, сытые облака.

— Смешно, — сказал Клингзор, — как много нужно времени, чтобы немножко разобраться в мире! Когда я однажды, много лет назад, ехал в Азию, я проезжал в шести или десяти километрах отсюда и ничего не знал. Я ехал в Азию, и тогда мне было это очень нужно. Но все, что я нашел там, я нахожу сегодня и здесь: девственный лес, жара, прекрасные иноземцы без нервов, солнце, святыни. Много же нужно времени, чтобы умудриться побывать за один-единственный день в трех частях света. Вот они. Привет тебе, Индия! Привет вам, Африка, Япония!

Друзья знали одну молодую даму, которая жила здесь наверху, и Клингзор был очень рад, что они навестят эту незнакомку. Он именовал ее Царицей Гор, так называлась одна таинственная восточная сказка в книжках его детских лет.

С большими ожиданиями двинулся караван через синее, тенистое ущелье улочек, кругом ни души, ни звука, ни курицы, ни собаки. Но в полутени оконной арки Клингзор увидел безмолвную фигуру — красивую девушку, черноглазую, в накинутом на черные волосы красном платке. Ее взгляд, тихо следивший за незнакомыми людьми, встретился с его взглядом, в течение одного долгого вздоха они смотрели друг другу

в глаза, мужчина и девушка, истово и строго, два разных мира, сблизившиеся на миг. Затем они коротко и сердечно улыбнулись друг другу улыбкой вечного приветствия полов, старой, сладостной, жадной вражды, и, шагнув за грань дома, чужой мужчина скрылся, он уже лежал в ларце девушки, образ, прибавившийся к другим образам, мечта, прибавившаяся к другим мечтам. Ненасытное сердце Клингзора ёкнуло, он помедлил, хотел было вернуться, Агосто позвал его, Эрсилия начала петь, стена тени исчезла, и в зачарованном полдне тихо и ослепительно возникли маленькая яркая площадь с двумя желтыми дворцами, узкие каменные балконы, закрытые лавки — великолепная декорация для первого акта оперы.

— Прибытие в Дамаск! — воскликнул доктор. — Где живет Фатьма, жемчужина среди женщин?

Ответ пришел неожиданно из меньшего дворца. Из прохладной черноты за полузакрытой балконной дверью вылетел странный звук, еще один и десять раз тот же, затем октава к нему, десять раз — рояль, который настраивали, поющий, полный звуков рояль посреди Дамаска.

Вот здесь, конечно, она и жила. Но дом, казалось, был без ворот, только розово-желтая стена

с двумя балконами да вверху на штукатурке фронтона старинная роспись: цветы, синие и красные, и попугай. Сюда бы размалеванную дверь, которая отворялась бы после того, как трижды в нее постучишь и произнесешь магические слова Соломона, и чтобы путника встречал аромат персидских благовоний, а за покрывалами, на высоком троне, восседала Царица Гор, и рабыни лепились бы по ступеням у ее ног, и намалеванный попугай с криком садился бы на плечо повелительницы. Они нашли в переулке крошечную дверцу, зло и пронзительно завизжал звонок, дьявольский механизм, вверх круто шла лестница, узкая, как стремянка. Немыслимо, как проник в этот дом рояль. Через окно? Через крышу?

Большая черная собака бросилась вниз, маленький светлогривый лев — за нею вслед, шум и гам, лесенка громыхала, в глубине рояль пел одиннадцать раз ту же ноту. Из окрашенной в розовое комнаты лился мягкий, приятный свет, хлопали двери. Был ли тут попугай?

Вдруг появилась Царица Гор, стройный, гибкий цветок, подтянутая, упругая, вся в красном, жгучий огонь, сама молодость. Перед взором Клингзора рассыпались в прах сотни любимых

картин и встала, сияя, новая. Он сразу понял, что будет писать ее, не с натуры, а сиянье в ней, которое он увидел, стихотворение, прелестное терпкое созвучие — молодость, красное, белокурость, амазонку. Он будет смотреть на нее час, а может быть, много часов. Будет смотреть, как она ходит, смотреть, как сидит, смотреть, как смеется, смотреть, может быть, как танцует, слушать, может быть, как поет. День был увенчан, день обрел смысл. Что приложится, то уже подарок, уже избыток. Всегда так бывало: событие не приходило одно, перед ним летели птицы, впереди него всегда шли гонцы и предвестья, материнско-азиатский животный взгляд там, у двери, черноволосая деревенская красавица в окне, то ли, другое ли.

Одно мгновение он с дрожью чувствовал: «Будь я на десять лет моложе, на десять коротких лет, эта могла бы взять меня, поймать меня, обвести меня вокруг пальца». Нет, ты слишком молодая, маленькая красная царица, ты слишком молода для старого волшебника Клингзора! Он будет восхищаться тобой, выучит тебя наизусть, напишет тебя, навеки запечатлеет песнь твоей молодости; но он не отправится из-за тебя в паломничество, не взберется к тебе по веревочной лестнице, не

совершит из-за тебя убийства, не споет серенаду под твоим красивым балконом. Увы, нет, всего этого он не сделает, старый художник Клингзор, старая овца. Он не будет любить тебя, не бросит на тебя взгляда, какой бросил на ту азиатку, какой бросил на ту черноволосую в окне, которая, может быть, нисколько не моложе, чем ты. Для них он не слишком стар, только для тебя, Царица Гор, красный цветок на горе. Для тебя, дикая гвоздика, он слишком стар. Тебе мало любви, которую может подарить Клингзор между полным работы днем и полным красного вина вечером. Тем лучше зато вопьет тебя мой глаз, стройная ракета, и будет помнить о тебе, когда ты давно для меня потухнешь.

Через комнаты с каменными полами и открытыми арками они прошли в зал, где над высокими дверями мерцали причудливо-несуразные фигуры лепных украшений, а вокруг, на темном фризе, плыли по сказочному, густо заселенному морю написанные красками дельфины, белые кони и розовые амурчики. Несколько стульев да на полу части разобранного рояля — больше ничего не было в этой большой комнате, но две соблазнительные двери выходили на два маленьких балкона над оперной площадью, а напротив,

наискосок, выпячивались балконы соседнего дворца, тоже расписанные картинами, и красный дородный кардинал плыл там на солнце золотой рыбкой.

Отсюда они уже не пошли дальше. В зале были распакованы припасы и накрыт стол, появилось вино, редкое белое вино с севера, ключ к полчищам воспоминаний. Настройщик пустился наутек, растерзанный рояль молчал. Клингзор задумчиво поглядел на обнаженные кишки струн, затем тихо закрыл крышку. Глаза его болели, но в его сердце пел летний день, пела мать-сарацинка, раздольно и мощно пело голубое виде́нье Карено. Он ел, чокался, говорил ясно и весело, а за всем этим работал аппарат в его мастерской, его взгляд охватывал эту дикую гвоздику, этот цветок мака, как вода рыбку, в его мозгу сидел усердный хронист и словно бы железными столбцами цифр записывал формы, ритмы, движения.

Разговоры и смех наполняли пустой зал. Умно и добродушно смеялся доктор, низко и приветливо Эрсилия, сильно и подспудно Агосто, легко, как птичка, художница, умно говорил поэт, шутливо говорил Клингзор, наблюдающе и чуть робко ходила красная Царица между своими гостями, дельфинами и конями, была там и здесь, стояла

у рояля, присаживалась на подушку, нарезала хлеб, наливала вино неопытной девичьей рукой. Радость звенела в прохладном зале, глаза блестели черным и синим блеском, перед светлыми высокими балконными дверями замер на страже ослепительный полдень.

Ясною струей лилось в стаканы благородное вино, прелестная противоположность простой холодной еде. Ясным пятном плавал красный свет платья Царицы по высокому залу, ясно и зорко следовали за ним взгляды всех мужчин. Она исчезла и появилась опять с обвязанной зеленым платком грудью. Исчезла и появилась опять с обвязанной синим платком головой.

После еды, устав и насытившись, весело двинулись в лес, улеглись в траве и мху, зонтики светились, лица пылали под соломенными шляпами, сверкая, горел солнечный день. Царица Гор лежала красным пятном в зеленой траве, светло поднималась из пламени ее тонкая шея, плотно и одушевленно сидел ее высокий ботинок на стройной ноге. Клингзор, вблизи от нее, читал ее, изучал ее, наполнял себя ею, как в детстве, читая волшебную сказку о Царице Гор, наполнял себя этой историей. Отдыхали, дремали, болтали, боролись с муравьями, воображали, что слышат

змей, в женских волосах застревала колючая кожура каштанов. Вспоминали отсутствующих друзей, которые пришлись бы кстати в этот час, их было немного, жалели, что здесь нет друга Клингзора, Луи Жестокого, живописца каруселей и цирков, его фантастический дух витал над собравши- мися.

Послеполуденные часы прошли как год в раю. Прощаясь, много смеялись, Клингзор все унес в сердце: Царицу, лес, дворец и зал с дельфинами, обеих собак, попугая.

Спускаясь между друзьями с горы, он постепенно пришел в то радостное и бесшабашное настроение, которое случалось у него только в те редкие дни, когда он добровольно оставлял работу. Рука об руку с Эрсилией, с Германом, с художницей, он вприпрыжку шагал вниз по освещенной солнцем дороге, запевал песни, по-детски наслаждался остротами, каламбурами, самозабвенно смеялся. Он забегал вперед и прятался в каком-нибудь укрытии, чтобы напугать остальных.

Как ни быстро они двигались, солнце двигалось быстрее, уже у Палаццетто оно зашло за гору, а внизу, в долине, был уже вечер. Они сбились с дороги, спустились слишком низко, все устали,

проголодались, и пришлось отказаться от планов, намеченных на вечер: от прогулки через ржаное поле в Баренго и рыбного блюда в трактире этой приозерной деревни.

— Дорогие мои, — сказал Клингзор, сев на каменную ограду у дороги, — наши планы были прекрасны, и, конечно, хороший ужин у рыбаков или в Монте д'Оро вызвал бы у меня благодарность. Но туда нам уже не дойти, по крайней мере мне. Я устал и проголодался. Отсюда я не пойду ни на шаг дальше, чем до ближайшего grotto[15], который, конечно, недалеко. Там найдется хлеб и вино, этого достаточно. Кто со мной?

Пошли все. Grotto был найден, среди лесных круч, на узкой террасе стояли каменные скамьи и столы во мраке деревьев, из погреба в скале хозяин принес холодное вино. Хлеб был. Сидели и ели молча, довольные, что наконец-то сидят. За высокими стволами деревьев погас день, синяя гора стала черной, красная дорога — белой, слышались шум повозки и лай собаки внизу на ночной дороге, там и сям загорались на небе звезды, а на земле огни, и их нельзя было отличить друг от друга.

---

[15] notes: 15
Здесь: погребок *(ит.).*

Клингзор сидел счастливый, отдыхал, глядел в ночь, медленно наполнялся черным хлебом, тихо осушал голубоватые чашки с вином. Насытившись, он опять стал болтать и петь, качался в такт песням, заигрывал с женщинами, вдыхал аромат их волос. Вино показалось ему хорошим. Старый совратитель, он легко переубедил предлагавших продолжить путь, пил вино, наливал вино, нежно чокался, требовал еще вина. Медленно поднимались из глиняных голубоватых чашек, символа бренности, пестрые чары, преображали мир, окрашивали звезды и свет.

Высоко парили они на качелях над пропастью мира и ночи, птицы в золотой клетке, без родного дома, без тяжести, лицом к звездам. Они пели, птицы, пели экзотические песни, из хмельных сердец бросали они свои фантазии в ночь, в небо, в лес, в сомнительный, очарованный космос. Отвечали звезды и луна, деревья и горы, Гёте сидел здесь и Хафиз, жарко благоухал Египет, проникновенно благоухала Греция, Моцарт улыбался, Гуго Вольф[16] играл на рояле в безумной ночи.

Раздался пугающий грохот, резко ударил свет:

---

[16] notes: 16
Австрийский композитор и музыкальный критик (1860–1903).

под ними, сквозь сердце земли, сотнями ослепительно светлых окон влетел в гору и в ночь железнодорожный состав, сверху, с неба, зазвонили колокола невидимой церкви. Соглядатаем поднялся над столом полумесяц, заглянул, отразившись, в темное вино, выхватил из темноты рот и глаз одной из женщин, улыбнулся, поднялся выше, подпел звездам. Дух Луи Жестокого примостился на скамейке, сидел в одиночестве, писал письма.

Клингзор, Царь Ночи, с высоким венцом в волосах, откинувшись на каменном сиденье, дирижировал танцем мира, обозначал такт, вызвал луну, убрал поезд. Тот исчез, как падает созвездие за край неба. Где Царица Гор? Не звучал ли рояль в лесу, не лаял ли вдалеке маленький недоверчивый лев? Разве не только что она была здесь, в синем платке на голове? Эй, старый мир, смотри не рухни! Сюда, лес! Туда, черные горы! Не сбиваться с такта! Звезды, какие вы синие и красные, совсем как в народной песне: «Красные вы очи, синие уста!»

Писать картины прекрасно, писать картины — это славная игра для послушных детей. Другое дело, крупнее и весомее, — дирижировать звездами, вносить в мир такт собственной крови,

хроматические круги собственной сетчатки, передавать ветру ночи вибрацию собственной души. Прочь, черная гора! Будь тучей, лети в Персию, пролейся дождем над Угандой! Сюда, дух Шекспира, спой нам свою пьяную шутовскую песню о дожде, который идет каждый день!

Клингзор целовал какую-то женскую ручку, он прислонился к какой-то приятно дышавшей женской груди. Какая-то нога под столом играла его ногой. Он не знал, чья рука, чья нога, он чувствовал нежность вокруг себя, по-новому и благодарно чувствовал старое волшебство: он был еще молод, до конца было еще далеко, еще исходили от него блеск и соблазн, они еще любили его, славные нерешительные бабенки, еще рассчитывали на него.

Он расцвел пышнее. Тихим, поющим голосом он начал рассказывать невероятную эпопею, историю одной любви или, вернее, одного путешествия в южные моря, где он в компании Гогена и Робинзона открыл остров попугаев и основал республику Блаженных Островов. Как сверкали на вечерней заре тысячи попугаев, как отражались их синие хвосты в зеленой бухте! Их крик и стоголосый крик больших обезьян приветствовал его, как гром, его, Клингзора, когда он

провозгласил эту республику. Белому какаду он поручил сформировать кабинет, а с мрачной птицей-носорогом пил пальмовое вино из тяжелых кокосовых чаш. О, луна той поры, луна блаженных ночей, луна над хижиной, стоявшей на сваях среди камыша! Ее звали Кюль Калюа, робкую коричневую принцессу; стройная, удлиненная, шагала она по банановой роще, отливая медом под сочной сенью огромных листьев, — глаза лани на нежном лице, кошачья пылкость в сильной, гибкой спине, кошачий прыжок в упругой лодыжке и поджарой ноге. Кюль Калюа, дитя, первобытная пылкость и детская невинность священного Юго-Востока, тысячу ночей лежала ты у груди Клингзора, и каждая была новой, каждая была горячее, была прекраснее, чем все прежние. О, праздник земного духа, когда девы острова попугаев плясали перед божеством!

Над островом, Робинзоном и Клингзором, над повестью и ее слушателями висела куполом белозвездная ночь, тихо, как дышат грудь и живот, вздымалась гора под деревьями, под домами, под ногами людей, лихорадочно-торопливо плясала по полушарию неба влажная луна, преследуемая звездами в дикой безмолвной пляске. Цепи звезд выстроились блестящей ниткой канатной дороги

в рай. Девственный лес по-матерински верещал, первобытный ил дышал распадом и зачатием, ползла змея, полз крокодил, безбрежно разливался поток творений.

— А я буду снова писать, — сказал Клингзор, — уже завтра. Но больше не эти дома, не этих людей, не эти деревья. Писать я буду крокодилов и морских звезд, драконов и пурпуровых змей, и все это в становлении, в изменении, полным жажды стать человеком, стать звездой, полным родов, полным тлена, полным бога и смерти.

Среди его негромких слов и среди сумятицы этого пьяного часа низко и ясно звучал голос Эрсилии, она тихо напевала песню о bel mazzo di fiori[17], от ее песни шел покой, Клингзор слушал ее так, словно она доносилась с далекого плавающего острова через моря времени и одиночества. Он опрокинул свою пустую глиняную чашку и больше не наполнял ее. Он слушал. Пел ребенок. Пела мать. Кто же ты — беспутный мерзавец, прошедший сквозь всю грязь мира, босяк и дрянь или малое, глупое дитя?

— Эрсилия, — сказал он почтительно, — ты наша добрая звезда.

---

[17] notes: 17
красивом букете цветов *(ит.)*.

Через крутой темный лес, в гору, цепляясь за ветки и корни, пробирались к дому. Добрались до светлой опушки, вышли в поле, тропинка в кукурузе дышала ночью и возвращением домой, отсвет луны на кукурузном листе, косо убегающие ряды виноградника. Теперь Клингзор пел, тихо, хрипловатым голосом, пел тихо и много, по-немецки и по-малайски, со словами и без слов. Тихим пеньем он изливал скопившееся в нем — так бурая стена излучает вечером собранный за день свет.

Один за другим откланивались друзья, исчезали в тени лоз на узких тропинках. Каждый уходил, каждый был сам по себе, стремился домой, был одинок под небом. Одна из женщин поцеловала Клингзора на прощанье, жгуче впилась в его рот губами. Разбрелись, растаяли все. Поднимаясь в одиночестве по лестнице к своему жилью, Клингзор все еще пел. Он пел хвалу богу и себе самому, он славил Ли Тай Пе и славил доброе вино из Пампамбьо. Как идол, покоился он на облаках утверждения.

— Внутри, — пел он, — я как золотой шар, как купол собора, там стоят на коленях, молятся, стены сверкают золотом, на старой картине истекает кровью Спаситель, истекает кровью сердце

Пречистой Девы. Мы тоже истекаем кровью, мы, прочие, мы, заблудшие, мы, звезды и кометы, семь и дважды семь мечей пронзают нашу блаженную грудь. Я люблю тебя, светловолосая и чернокудрая женщина, я люблю всех, и мещан тоже; вы такие же бедняги, как я, такие же бедные дети и неудавшиеся полубоги, как пьяный Клингзор. Привет тебе, возлюбленная жизнь! Привет тебе, возлюбленная смерть!

Клингзор – Эдит

Милая звезда на летнем небе!

Как хорошо и правдиво ты написала мне, и какой болью отзывается во мне твоя любовь — как вечное страдание, как вечный упрек. Но ты на добром пути, если признаешься мне, если признаешься себе в каждом движении сердца. Только никакое движение не называй мелким, не называй недостатком! Хорошо, очень хорошо любое, и ненависть тоже, и зависть, и ревность, и жестокость. Ничем другим мы и не живем, кроме как нашими бедными, прекрасными, великолепными чувствами, и каждое, которое мы обижаем, — это звезда, которую мы гасим.

Люблю ли я Джину, не знаю. Весьма сомневаюсь в этом. Я ничем не пожертвовал бы ради

нее. Не знаю, способен ли я вообще любить. Я способен вожделеть, способен искать себя в других людях, ловить эхо, искать зеркала, способен стремиться к радости, и все это может выглядеть как любовь.

Мы оба, ты и я, блуждаем в одном и том же лабиринте, в лабиринте наших чувств, которые в этом скверном мире потерпели убыток, и мы мстим за это, каждый по-своему, этому злому миру. Но каждый из нас хочет, чтобы мечта другого уцелела, потому что мы знаем, как красно и сладко вино мечты.

Ясность насчет своих чувств и насчет «возможных последствий» своих поступков есть только у добрых, благополучных людей, верящих в жизнь и не делающих ни одного шага, который они не одобрили бы и завтра, и послезавтра. Я не имею счастья причислять себя к ним, я чувствую и поступаю как человек, который не верит в жизнь и смотрит на каждый день как на последний.

Милая стройная женщина, я безуспешно пытаюсь выразить свои мысли. Выраженные мысли всегда так мертвы! Пускай они живут! Я глубоко и с благодарностью чувствую, как ты понимаешь меня, как что-то в тебе родственно мне. Как провести это по бухгалтерской книге жизни, суть ли

наши чувства любовь, похоть, благодарность, сочувствие, материнские ли они или детские, этого я не знаю. Порой я гляжу на каждую женщину как опытный старый развратник, а порой как маленький мальчик. Порой меня больше всего соблазняет самая непорочная женщина, порой — самая нескромная. Все прекрасно, все священно, все бесконечно хорошо, что доводится мне любить. Почему, сколь долго, в какой степени, этого не измерить.

Я люблю не одну тебя, ты это знаешь, я люблю и не одну Джину, завтра и послезавтра я буду любить, буду писать другие картины. Но раскаиваться я не буду ни в одной любви, которую когда-либо чувствовал, ни в одном мудром деле и ни в одной глупости, которые я из-за нее совершил. Тебя я люблю, может быть, потому, что ты похожа на меня. Других я люблю потому, что они не такие, как я.

Сейчас поздняя ночь, луна стоит над Салюте. Как смеется жизнь, как смеется смерть!

Брось это глупое письмо в огонь и брось в огонь

твоего Клингзора.

Музыка гибели

Пришел последний день июля, любимый месяц Клингзора, высокий праздник Ли Тай Пе отцвел, миновал навсегда, подсолнечники в саду кричали золотом в синюю высь. Вместе с верным Ту Фу Клингзор странствовал в этот день по местам, которые он любил: выжженные предместья, пыльные дороги в высоких аллеях, выкрашенные в красный и оранжевый цвет хижины на песчаном берегу, грузовики и погрузочные причалы судов, длинные фиолетовые стены, пестрый бедный люд. Вечером этого дня он сидел в пыли на краю предместья и писал пестрые шатры и повозки карусели, у обочины дороги он примостился на голой, выжженной поляне, впиваясь в яркие краски шатров. Он вгрызался в выцветший сиреневый цвет стенки шатра, в радостные зеленый и красный цвета громоздких фургонов, в сине-белые шесты каркасов. Яростно рыл он кадмий, люто месил сладковато-прохладный кобальт, тянул расплывшийся краплак по желтому и зеленому небу. Еще час, ох, меньше — и конец, наступит ночь, а завтра начнется уже август, горючий, горячечный месяц, вливающий столько страха смерти, столько робости в свои обжигаю-

ще жаркие чаши. Коса была наточена, дни шли на убыль, смерть смеялась, притаившись в побуревшей листве. Звени во весь голос и греми, кадмий! Громко хвастай, буйный краплак! Звонко смейся, лимонно-желтая! Сюда, густо-синяя гора дали! Ко мне, к моему сердцу, пыльно-зеленые, вялые деревья! Как вы устали, как опустили покорные, кроткие ветки! Я пью вас, прелестные созданья! Я изображаю перед вами прочность и бессмертие, это я-то, такой бренный, такой скептический, такой грустный, страдающий больше, чем все вы, от страха смерти. Июль сгорел, скоро сгорит август, внезапно дохнет на нас холодом из желтой листвы росистого утра великий призрак. Внезапно начнет мести над лесом ноябрь. Внезапно засмеется великий призрак, внезапно застынет у нас сердце, внезапно отвалится у нас от костей милая розовая плоть, завоет шакал в пустыне, хрипло запоет свою мерзкую песню стервятник. Какая-нибудь мерзкая газетенка большого города поместит мой портрет, и под ним будет написано: «Замечательный художник; экспрессионист, великий колорист, умер шестнадцатого числа этого месяца».

С ненавистью метнул он борозду парижской лазури под зеленый цыганский фургон. С горечью

кинул кромку хромовой желтой на придорожные тумбы. С глубоким отчаянием положил киноварь в оставленный пробел, убрал требовательную белизну, кровоточа сражался за долговечность, взывал светло-зеленой и неаполитанской желтой к неумолимому богу. Со стоном бросил больше синей на вялую пыльную зелень, с мольбой зажег более проникновенные огни на вечернем небе. Маленькая палитра, полная чистых, несмешанных красок светящейся яркости, — она была его утешением, его башней, его арсеналом, его молитвенником, его пушкой, из которой он стрелял в злобную смерть. Пурпур был отрицанием смерти, киноварь была насмешкой над тленьем. Хороший был у него арсенал, блестяще держался его маленький храбрый отряд, сияя, громыхали быстрые выстрелы его пушек. Ведь ничего не поможет, ведь всякая стрельба напрасна, а все-таки стрелять хорошо, это счастье и утешение, это еще жизнь, еще торжество.

Ту Фу уходил навестить какого-то приятеля, жившего там, между фабрикой и грузовым причалом, в своем волшебном замке. Теперь он пришел и привел его с собой, этого звездочета-армянина.

Клингзор, закончив картину, облегченно вздыхал, когда увидел рядом с собой славные светлые

волосы Ту Фу, черную бороду и улыбавшийся белыми зубами рот мага. А с ними пришла и тень, длинная, темная, с глубоко запавшими в глазницы глазами. Привет и тебе, тень, добро пожаловать, милая!

— Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил Клингзор своего друга.

— Последний день июля, я знаю.

— Сегодня я составил гороскоп, — сказал армянин, — и узнал, что этот вечер кое-что принесет мне. Сатурн стоит зловеще, Марс нейтрально, Юпитер господствует. Ли Тай Пе, вы родились не в июле?

— Я родился второго июля.

— Так я и думал. Ваши звезды находятся в сложном положении, истолковать их можете только вы сами. Плодовитость окружает вас, как облако, готовое лопнуть. Странно стоят ваши звезды, Клингзор. Вы должны это чувствовать.

Ли собрал свои принадлежности. Погас мир, который он писал, погасло желтое и зеленое небо, утонуло синее светлое знамя, была убита и увяла прекрасная желтизна. Ему хотелось есть и пить, горло у него было забито пылью.

— Друзья, — сказал он ласково, — давайте проведем этот вечер вместе. Больше мы, четверо,

вместе уже не будем, я прочел это не по звездам, это написано у меня в сердце. Мой месяц июль прошел, сумрачно горят его последние часы, из бездны зовет великая мать. Никогда не был мир так прекрасен, никогда не получалось у меня такой прекрасной картины, дрожат зарницы, зазвучала музыка гибели. Будем подпевать ей, этой сладостной страшной музыке, останемся вместе, будем пить вино и есть хлеб.

Возле карусели, шатер которой как раз покрывали крышей и готовили к вечеру, стояло несколько столов под деревьями, сновала хромая служанка, в тени укрылся маленький кабачок. Здесь они остались, уселись за стол из досок, был подан хлеб, разлито по глиняным чашкам вино, под деревьями зажглись огни, загремел органчик карусели, швыряя в вечер свою ломкую, пронзительную музыку.

— Я триста кубков осушу сегодня! — воскликнул Ли Тай Пе и чокнулся с тенью. — Привет тебе, тень, стойкий оловянный солдатик! Привет вам, друзья! Привет вам, электрические огни, дуговые лампы и сверкающие блестки на карусели! О, если бы здесь был Луи, эта непоседливая птица! Может быть, он уже прежде нас улетел в небо. А может быть, он уже завтра вернется, старый ша-

кал, и не застанет нас и поставит дуговые лампы и шесты с вымпелами на нашу могилу.

Маг тихо удалился и принес еще вина, его красный рот весело улыбался белыми зубами.

— Печаль, — сказал он, бросив взгляд на Клингзора, — такая вещь, которую не надо носить с собой. Это так легко — достаточно одного часа, одного короткого напряженного часа со стиснутыми зубами, чтобы навсегда покончить с печалью.

Клингзор внимательно смотрел на его рот, на светлые, чистые зубы, которые некогда, в какой-то жгучий час, задушили и насмерть загрызли печаль. Получится ли и у него то, что получилось у звездочета? О короткий, сладостный взгляд в далекие сады: жизнь без страха, жизнь без печали! Он знал: эти сады ему недоступны. Он знал: ему суждено другое, по-другому глядел на него Сатурн, другие песни хотел играть бог на его струнах.

— У каждого свои звезды, — медленно сказал Клингзор, — у каждого своя вера. Я верю только в одно: в гибель. Мы едем в повозке над пропастью, и лошади понесли. Мы обречены на гибель, мы все, мы должны умереть, мы должны родиться заново, для нас пришло время великого поворота.

Везде одно и то же: великая война, великий перелом в искусстве, великий крах государств Запада. У нас в старой Европе умерло все, что было у нас хорошо и нам свойственно: наш прекрасный разум стал безумием, наши деньги — бумага, наши машины могут только стрелять и взрываться, наше искусство — это самоубийство. Мы гибнем, друзья, так нам суждено, зазвучала тональность Цзин Цзэ.

Армянин налил вина.

— Как хотите, — сказал он. — Можно сказать «да», и можно сказать «нет», это всего лишь детская игра. Гибель, упадок — это нечто не существующее на свете. Чтобы были упадок или подъем, надо, чтобы были низ и верх. Но низа и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий. Все противоречия — это иллюзии: белое и черное — иллюзия, жизнь и смерть — иллюзия, зло и добро — иллюзия. Достаточно часа, одного жгучего часа со стиснутыми зубами, чтобы преодолеть царство иллюзий.

Клингзор слушал его славный голос.

— Я говорю о нас, — ответил он, — я говорю о Европе, о нашей старой Европе, две тысячи лет считавшей себя мозгом мира. Это гибнет. Думаешь, я не знаю тебя, маг? Ты посланец Востока,

ты послан и ко мне, может быть, шпион, может быть, переодетый полководец. Ты здесь потому, что здесь начинается конец, потому, что ты чувствуешь здесь гибель. Но мы рады погибнуть, рады умереть, мы не сопротивляемся.

— Ты можешь также сказать: мы рады родиться, — засмеялся азиат. — Тебе кажется это гибелью, а мне, может быть, рождением. То и другое — иллюзия. Человек, который верит, что земля — это устойчивый диск под небом, видит подъем и гибель и верит в них, а в устойчивый диск верят все, почти все! Даже звезды не знают восхода и захода.

— Разве звезды не закатились? — воскликнул Ту Фу.

— Для нас, для наших глаз.

Он налил дополна чашки, он все время исполнял обязанности виночерпия, все время готов был услужить и улыбался при этом. Он сходил с пустым кувшином за новым вином. Оглушительно кричала карусельная музыка.

— Пойдемте туда, там так прекрасно, — попросил Ту Фу, и они пошли туда, стали у расписного барьера, смотрели, как кружится, беснуясь в ослепительном блеске мишуры и зеркал, карусель, как сотни детей пожирают глазами это

сверканье. На миг Клингзор глубоко и смешливо почувствовал всю дикарскую первобытность этой вертящейся машины, этой механической музыки, этих ярких, буйных картин и красок, зеркал и нелепых украшенных столбов, во всем было что-то от знахаря и шамана, от волшбы и старинных крысоловов, и весь этот дикий, буйный блеск был, в сущности, не чем иным, как дрожащим блеском блесны, на которую, принимая ее за рыбку, ловится щука.

Всем детям надо было покататься на карусели. Всем детям давал Ту Фу деньги, всех детей угощала тень. Толпами окружали они дарителей, приставали, клянчили, благодарили. Одну красивую белокурую девочку двенадцати лет одаривали все, она не пропустила ни одного круга. В сиянье огней прелестно развевалась короткая юбка вокруг ее красивых мальчишеских ног. Один мальчик плакал. Мальчики дрались. Бичами хлопали под органчик литавры, вливая огонь в такт, опиум в вино. Долго стояли они вчетвером среди сутолоки.

Потом они снова сидели под деревом, армянин разливал по чашкам вино, ворошил гибель, улыбался светлой улыбкой.

— Три сотни чаш мы осушим сегодня, — пел

Клингзор; его загорелая голова пылала желтым огнем, громко звенел его смех; печаль великаном преклонила колени на его трепещущем сердце. Он чокался, он славил гибель, желание умереть, тональность Цзин Цзэ. Бурно гремела музыка карусели. Но в глубине сердца сидел страх, сердце не хотело умирать, сердце ненавидело смерть.

Вдруг из трактира яростно вырвалась в ночь какая-то вторая музыка, пронзительная, горячая. На первом этаже, возле камина, карниз которого был красиво уставлен винными бутылками, грянуло механическое фортепьяно, пулеметом, яростно, ругательно, торопливо. Из расстроенного инструмента кричала боль, тяжелым паровым катком давил ритм стонущие неблагозвучия. Кругом был народ, свет, шум, танцевали парни и девушки, и хромая служанка тоже, и Ту Фу. Он танцевал с той белокурой девочкой, Клингзор смотрел на них, легко и прелестно развевалось ее летнее платьице вокруг тонких красивых ног, ласково улыбалось полное любви лицо Ту Фу. Возле камина сидели другие, пришедшие из сада, вблизи музыки, среди шума. Клингзор видел звуки, слышал краски. Маг брал бутылки с камина, откупоривал, наливал. Светлой была улыбка на его смуглом умном лице. Ужасно гремела музыка

в нижнем зале. В шеренге старых бутылок над камином армянин медленно пробивал брешь — так святотатец забирает из алтарной утвари чашу за чашей.

— Ты великий художник, — шептал звездочет Клингзору, наполняя его чашку. — Ты один из величайших художников этой эпохи. Ты вправе называться Ли Тай Пе. Но ты, Ли Тай, ты затравленный, жалкий, замученный и запуганный человек. Ты затянул песнь гибели, ты поешь ее, сидя в своем горящем доме, который ты сам и поджег, и тебе при этом нехорошо, Ли Тай Пе, хотя ты каждый день осушаешь три сотни чаш и чокаешься с луной. Тебе при этом нехорошо, тебе очень больно при этом, певец гибели, — не хочется ли тебе перестать? Не хочется ли тебе жить? Не хочется ли тебе пребывать на свете?

Клингзор выпил и зашептал в ответ своим хрипловатым голосом:

— Разве можно повернуть судьбу? Разве существует свобода воли? Разве ты, звездочет, можешь направить мои звезды иначе?

— Направить — нет, я могу их только толковать. Направить себя можешь только ты сам. Свобода воли существует. Она называется магией.

— Почему я должен заниматься магией, если я

могу заниматься искусством? Разве искусство не так же хорошо?

— Все хорошо. Ничто не хорошо. Магия уничтожает иллюзии. Магия уничтожает ту худшую иллюзию, которую мы называем «время».

— А разве искусство — нет?

— Оно пытается. Тебе достаточно твоего нарисованного июля, который ты носишь в своих папках? Ты уничтожил время? Тебе не страшна осень, не страшна зима?

Клингзор вздохнул и промолчал, он молча выпил, молча наполнил маг его чашку. Бесновалась, сорвавшись с цепи, фортепьянная машина, среди танцующих ангельски парúло лицо Ту Фу. Июль кончился.

Клингзор поиграл пустыми бутылками на столе, выстроил их в круг.

— Это наши пушки, — воскликнул он, — этими пушками мы расстреляем время, расстреляем смерть, расстреляем беду. Красками тоже я стрелял в смерть, огненной зеленой, взрывчатой киноварью, очаровательным гераневым лаком. Я не раз попадал ей в голову. Белую и синюю я всаживал ей в глаз. Не раз я обращал ее в бегство. Еще не раз я в нее попаду, одержу над ней верх, перехитрю ее. Смотрите на этого армянина, он

опять открывает старую бутылку, и закупоренное солнце минувших лет бросается нам в кровь. Этот армянин тоже помогает нам стрелять в смерть, армянин тоже не знает другого оружия против смерти.

Маг отломил кусок хлеба и стал есть.

— Против смерти мне не нужно оружия, потому что смерти нет. А есть одно — страх смерти. Его можно побороть, против него есть оружие. Это дело одного часа — преодолеть страх. Но Ли Тай Пе не хочет. Ведь Ли Тай Пе любит смерть, ведь он любит свой страх смерти, свою печаль, свою беду, ведь только страх научил его всему, что он умеет и за что мы любим его.

Он насмешливо чокнулся, его зубы сверкали, лицо его становилось все веселее, страдание, казалось, было чуждо ему. Никто не ответил. Клингзор стрелял в смерть из пушки вина. Громадой стояла смерть у открытых дверей зала, разбухшего от людей, вина и танцевальной музыки. Громадой стояла смерть у дверей, тихо трясла черную акацию, мрачно насторожилась в саду. Все снаружи было полно смерти, полно смертью, только здесь, в узком громком зале, еще сражались, еще великолепно и отважно сражались с той черной, что держала осаду и ныла за

окнами.

Насмешливо смотрел через стол маг, насмешливо наполнял чашки. Много чашек Клингзор уже разбил, он подавал ему новые. Много выпил и армянин, но сидел, как и Клингзор, прямо.

— Давай пить, Ли, — глумился он тихо. — Ты же любишь смерть, ты же рад погибнуть, рад умереть. Разве ты этого не говорил, или я ошибаюсь, или ты ввел в заблуждение меня, да и себя самого? Давай пить, Ли, давай погибнем!

В Клингзоре вскипела злость. Он поднялся, выпрямился во весь рост, старый ястреб с острой головой, плюнул в вино, разбил об пол свою полную чашку. Красное вино разбрызгалось по залу, друзья побледнели, посторонние посмеялись.

Но маг молча и с улыбкой принес новую чашку, с улыбкой наполнил ее, с улыбкой поднес Ли Тай Пе. Тут и Ли, тут и он улыбнулся. По его искаженному лицу улыбка пробежала как лунный свет.

— Дети, — воскликнул он, — пускай говорит этот чужеземец! Он много знает, старая лиса, он пришел из скрытой и глубокой норы. Он много знает, но он не понимает нас. Он слишком стар, чтобы понимать детей. Он слишком мудр, чтобы понимать дураков. Мы, мы, умирающие, знаем о смерти больше, чем он. Мы люди, не звезды. Взг-

ляните на мою руку, которая держит эту синюю чашечку с вином! Она многое умеет, эта рука, эта смуглая рука. Она писала множеством кистей, она вырывала из мрака и показывала людям новые куски мира. Эта смуглая рука гладила множество женщин под подбородком и соблазнила множество девушек, ее много целовали, на нее падали слезы, Ту Фу сочинил стихи в ее честь. Эта славная рука, друзья, скоро будет полна земли и личинок, никто из вас не станет больше дотрагиваться до нее. Что ж, именно поэтому я ее и люблю. Я люблю свою руку, люблю свои глаза, люблю свой белый, нежный живот, люблю их с сожалением, с насмешкой и с великой нежностью, потому что всем им суждено скоро увять и сгнить. Тень, сумрачный друг, старый оловянный солдатик на могиле Андерсена, тебя, милая, ждет та же участь! Чокнись со мной, да здравствуют наши славные части тела и внутренности!

Они чокнулись, сумрачно улыбнулась своими глубоко запавшими глазами тень — и вдруг по залу что-то прошло, как ветер, как дух. Внезапно умолкла музыка, вдруг, словно погаснув, исчезли танцоры, поглощенные ночью, и потухла половина огней. Клингзор посмотрел на черные двери. За ними стояла смерть. Он видел, как она

стоит. Он слышал ее запах. Как капли дождя в придорожной листве — так пахла смерть.

Тут Ли отодвинул от себя чашку, оттолкнул стул и медленно вышел из зала в темный сад и пошел прочь, в темноте, под вспышки зарниц над головой, один. Сердце лежало у него в груди тяжестью, как камень на могиле.

Вечер в августе

Вечером, очень усталый — он после полудня на солнце и на ветру писал возле Мануццо и Вельи, — Клингзор лесом, через Велью, пришел в маленькую сонную деревушку Канветто. Ему удалось вызвать какую-то старуху хозяйку, она принесла ему вино в глиняной чашке, он сел на ореховый пенек у двери, распаковал свой рюкзак, нашел в нем еще кусок сыру и несколько слив и стал ужинать. Старуха сидела с ним, седая, сгорбленная, беззубая, и, шевеля дряблыми складками шеи, с затихшими старыми глазами рассказывала о жизни своего поселка и своей семьи, о войне и дороговизне, о состоянии полей, о вине и молоке и сколько они стоили, об умерших внуках и эмигрировавших сыновьях; все эпохи и созвездья этой маленькой крестьянской жизни были представлены ясно и приветливо, грубые

в своей скудной красоте, полные радости и заботы, полные страха и жизни. Клингзор ел, пил, отдыхал, слушал, спрашивал о детях и скотине, о священнике и епископе, учтиво хвалил бедное вино, предложил последнюю сливу, пожал руку, пожелал спокойной ночи и, опираясь на палку, с мешком за плечами, медленно побрел в редкий лес, в гору, к ночлегу.

Был поздний, золотой час, везде еще горел свет дня, но луна уже поблескивала, и первые летучие мыши плавали в зеленом мерцающем воздухе. Опушка стояла в мягких последних лучах, светлые стволы каштанов перед черными тенями, желтая хижина тихо испускала вобранный за день свет, мягко пылая, как желтый топаз, розовые и фиолетовые тропинки тянулись через луга, лозы и лес, кое-где виднелись желтые уже ветки акаций, небо на западе, над бархатно-синими горами, было золотым и зеленым.

О, если бы теперь можно было еще поработать, в последние заколдованные четверть часа зрелого летнего дня, который никогда не вернется! Как невыразимо уже было теперь все, как спокойно, как добро и щедро, как полно бога!

Клингзор сел в прохладную траву, машинально потянулся за карандашом и тут же с улыбкой

опустил руку. Он смертельно устал. Его пальцы перебирали сухую траву, сухую, рассыпчатую землю. Как долго еще, прежде чем эта волнующая игра кончится? Как долго еще, прежде чем руки, рот и глаза наполнятся землей? Ту Фу прислал ему на днях стихи, он вспомнил их и медленно произнес про себя:

Листвой с дерев летит
Мой срок земной.
Как я тобою сыт,
Как пьян тобой,
Как изнуряешь ты,
О мир, манящий
Мельканьем красоты,
Столь преходящей!
Ветер будет, летя,
Над могилой моей свистеть,
А мать на дитя
С любовью будет глядеть.
Мне бы только глаза ее вновь увидать,
Взгляд ее – это моя звезда.
Ничего и не нужно больше.
Одна лишь мать,

Вечная мать остается всегда,
Всех нас родившая, – только она.
Все остальное радо уйти из мира.
Наши бесчисленные имена
Пишет она на летучей струе эфира.

Вот и хорошо. Сколько еще жизней осталось у Клингзора от его десяти? Три? Две? Уж во всяком-то случае больше, чем одна добропорядочная, обыкновенная, заурядная мещанская жизнь. И он много сделал, много видел, исписал много бумаги и холста, взволновал много сердец любовью и ненавистью, внес в мир много скандального и свежего в искусстве и в жизни. Любил множество женщин, разрушил множество традиций и святынь, отважился на множество новых дел. Осушил множество полных чаш, надышался множеством дней и звездных ночей, загорал под множеством солнц, плавал во множестве вод. И вот он сидит здесь, в Италии, или в Индии, или в Китае, летний вечер капризно теребит кроны каштанов, мир совершенен и хорош. Безразлично, напишет ли он еще сто картин или десять, проживет ли еще одно лето или двадцать. Он устал, устал. Все умирает, все радо уйти из мира. Молодчина Ту Фу!

Пора вернуться домой. Он проковыляет в комнату, его встретит ветер, влетев в балконную дверь. Он зажжет свет и распакует свои эскизы. Лесная чаща с большим количеством хромовой желтой и китайской лазури, пожалуй, хороша, когда-нибудь выйдет картина. Надо подниматься, пора.

Однако он продолжал сидеть, с ветром в волосах, в распахнутой, вымазанной полотняной куртке, с улыбкой и болью в вечернем сердце. Мягко и вяло дул ветер, мягко и бесшумно кружились летучие мыши в гаснущем небе. Все умирает, все радо уйти из мира. Одна лишь мать, вечная мать остается всегда.

Можно поспать и здесь, хотя бы час, ведь еще тепло. Он положил голову на мешок и стал смотреть в небо. Как прекрасен мир, сыт становишься им, устаешь от него!

Послышались шаги, кто-то спускался с горы, крепко ступая свободно подвязанными деревянными подошвами. Между папоротниками и дроком показалась какая-то фигура, женщина, цвета́ ее одежды уже нельзя было различить. Она приблизилась, шагая ровным, здоровым шагом. Клингзор вскочил и выкрикнул приветствие. Она немного испугалась и на миг остановилась.

Он посмотрел ей в лицо. Он знал ее, но не помнил — откуда. Она была хороша собой и смугла, ее красивые, крепкие зубы ярко сверкали.

— Вот так так! — воскликнул он и подал ей руку. Он чувствовал, что что-то связывает его с этой женщиной, какое-то воспоминание. — Мы разве не знакомы?

— Мадонна! Да вы же художник из Кастаньеты! Вы меня еще не забыли?

Да, теперь он вспомнил. Она была крестьянка из долины, где стоял кабачок, возле ее дома он однажды, в уже потускневшем и сумбурном прошлом этого лета, писал несколько часов, брал воду из ее колодца, подремал в тени фигового дерева, а на прощанье получил от нее стакан вина и поцелуй.

— Вы больше не приходили, — пожаловалась она. — А уж так мне обещали.

Озорство и вызов слышались в ее низком голосе. Клингзор оживился.

— Ессо[18], тем лучше, что сейчас ты пришла ко мне! Ну и повезло же мне, как раз сейчас, когда я один и грущу.

— Грустите? Не обманывайте меня, сударь, вы

---

[18] notes: 18
Ну, так *(ит.).*

шутник, ни одному вашему слову верить нельзя. Ну, мне надо идти.

— О, тогда я провожу тебя.

— Вам не по пути, да и незачем. Что со мной случится?

— С тобой-то ничего, а вот со мной… Вдруг кто-нибудь встретится, понравится тебе, пойдет с тобой, будет целовать твои милые губы, и твою шею, и твою прекрасную грудь, кто-нибудь другой, а не я. Нет, этому не бывать.

Он положил ладонь ей на затылок и не отпускал ее.

— Звездочка моя! Моя радость! Моя маленькая сладкая слива! Укуси меня, а то я тебя съем.

Он поцеловал ее, со смехом запрокинувшуюся, в открытые сильные губы; отбиваясь и возражая, она уступила, ответила на поцелуй, покачала головой, засмеялась, попыталась вырваться. Он прижимал ее к себе, свои губы к ее губам, положив руку ей на грудь, ее волосы пахли как лето — сеном, дроком, папоротниками, малиной. Переводя дух, он откинул назад голову и увидел на потухшем небе первую взошедшую звезду, маленькую и белую. Женщина молчала, ее лицо стало суровым, она вздохнула, положила ладонь на его руку и сильнее прижала ее к своей груди.

Он ласково склонился, обнял одной рукой ее ноги, которые не сопротивлялись, и уложил в траву.

— Ты меня любишь? — спросила она, как маленькая девочка. — Povera me![19]

Они выпили чашу, ветер гладил им волосы и уносил с собой их дыхание. Когда они расставались, он поискал в мешке и в карманах куртки, нет ли там чего-нибудь, чтобы подарить ей, нашел серебряную коробочку, еще наполовину полную курительного табака, опорожнил ее и дал ей.

— Нет, не в подарок, конечно! — заверил он ее. — Просто на память, чтобы ты не забывала меня.

— Я тебя не забуду, — сказала она. И: — Ты придешь еще?

Он погрустнел. Медленно поцеловал он ее в оба глаза.

— Приду, — сказал он.

Стоя неподвижно, он еще некоторое время слушал, как шагала она с горы на деревянных подошвах по траве, через лес, по земле, по камням, по листьям, по корням. И вот она исчезла. Чернел в ночи лес, теплый ветер гладил погасшую

---

[19] notes: 19
Бедная я! *(ит.)*

землю. Откуда-то, может быть, от грибов, а может быть, от увядших папоротников, резко и горько пахло осенью.

Клингзор не мог решиться пойти домой. Зачем теперь взбираться на гору, зачем идти в свои комнаты ко всем этим картинам? Он вытянулся в траве и лежал, глядя на звезды, наконец уснул и спал, пока его не разбудил то ли порыв ветра, то ли холод росы. Затем он поднялся в Кастаньетту, нашел свой дом, свою дверь, свои комнаты. Там лежали письма и цветы, в его отсутствие приходили друзья.

Как он ни устал, он по старой упорной привычке хоть и среди ночи, а распаковал свои вещи и при свете лампы просмотрел листы со сделанными за день эскизами. Лесная чаща была очень хороша, зелень и камень в тени с крапинами света блестели прохладным, изысканным блеском, как кладовая алмазов. Он поступил правильно, работая только хромовой желтой, оранжевой и синей и отставив зеленую киноварь. Долго глядел он на этот лист.

Но для чего? Для чего все эти листы, полные красок? Для чего весь этот труд, пот, вся эта короткая пьяная радость творчества? Разве это давало избавление? Давало покой? Давало мир?

Без сил, едва успев раздеться, он рухнул в постель, погасил свет, пытался уснуть и тихо бормотал стихи Ту Фу:

Ветер будет, летя,
Над могилой моей свистеть.

Клингзор пишет Луи Жестокому

Caro[20] Луиджи! Давно не слышно твоего голоса. Ты еще живешь на свете? Или твои кости уже гложет стервятник?

Ты когда-нибудь ковырялся вязальной спицей в остановившихся стенных часах? Я однажды это делал и видел, как в часы вдруг вселился бес и весь запас времени с треском полетел в тартарары, стрелки пустились взапуски по циферблату, они как сумасшедшие вращались со страшным шумом, prestissimo[21], а потом так же внезапно все кончилось, и часы испустили дух. Именно это происходит сейчас здесь, у нас: солнце и луна, обезумев, мчатся, словно их кто-то гонит по небу, дни летят, время убегает, словно через дыру в мешке. Надо думать, и конец будет такой же

---

[20] notes: 20
Дорогой *(ит.).*

[21] notes: 21
очень быстро *(ит.).*

внезапный, и этот пьяный мир погибнет, вместо того чтобы снова взять буржуазно-добропорядочный темп.

Весь день я слишком занят, чтобы быть способным о чем-нибудь думать (как смешно это, между прочим, звучит, когда произносишь вслух такое так называемое «предложение»: «чтобы быть способным о чем-нибудь думать»!). Но вечером мне часто тебя не хватает. Тогда я обычно сижу где-нибудь в лесу, в одном из множества погребков, и пью свое любимое красное вино, которое обычно, правда, бывает не лучшим, но все-таки помогает сносить жизнь и вызывает сон. Несколько раз я даже засыпал за столом в grotto, доказывая под ухмылки туземцев, что с моей неврастенией дело обстоит не так скверно. Иногда мне составляют компанию друзья и девушки, и тогда приходится упражнять пальцы в лепке женского тела и говорить о шляпах, каблуках и об искусстве. Иногда удается достигнуть хорошей температуры, тогда мы всю ночь кричим и смеемся, и люди радуются, что Клингзор такой веселый малый. Здесь есть одна очень красивая женщина, которая каждый раз, когда я вижу ее, горячо спрашивает о тебе.

Искусство, которым мы оба занимаемся, все еще слишком привязано, как сказал бы какой-нибудь

профессор, к предмету (хорошо бы изобразить это в виде ребуса). Мы все еще, хотя и чуть более вольным почерком и достаточно волнующе для буржуа, пишем предметы «реальности»: людей, деревья, ярмарки, железные дороги, ландшафты. В этом мы еще следуем некоей традиции. Ведь «реальными» мещанин называет предметы, которые всеми или хотя бы многими воспринимаются и описываются одинаково. Я собираюсь, как только кончится это лето, некоторое время писать только фантазии, главным образом — мечты. Это будет отчасти и в твоем вкусе, то есть безумно весело и неожиданно, примерно как в историях охотника на зайцев Коллофино о Кёльнском соборе. Хоть я и чувствую, что почва подо мной стала довольно зыбкой, и в общем не жажду дальнейших лет и дел, мне все-таки хочется загнать в глотку этому миру еще парочку-другую шутих. Один покупатель картин написал мне недавно, что восхищается, глядя, как я в своих новейших работах переживаю вторую молодость. В этом, пожалуй, есть доля истины. По-настоящему я начал писать, мне кажется, только в этом году. Но то, что со мной сейчас происходит, похоже не столько на весну, сколько на взрыв. Удивительно, как много еще во мне динамита; но динамит —

неподходящее топливо для экономичной плиты.

Дорогой Луи, я уже не раз радовался про себя, что мы, два старых распутника, по сути, трогательно стыдливы и скорее размозжим друг другу стаканами голову, чем как-нибудь выдадим свои чувства друг к другу. Пусть так оно и останется, старый еж!

На днях мы устроили в grotto возле Баренго праздник с вином и хлебом, великолепно звучало наше пенье в высоком лесу среди ночи, старые римские песни. Так мало нужно для счастья, когда стареешь и уже чувствуешь холодок в ногах: восемь — десять часов работы в день, литр пьемонтского, полфунта хлеба, виргинская сигара, несколько приятельниц и, конечно, тепло и хорошая погода. Это у нас есть, солнце работает на славу, моя голова смугла, как голова мумии.

В иные дни у меня бывает такое ощущение, что моя жизнь и работа только теперь и начинаются, а иногда мне кажется, что я восемьдесят лет тяжко трудился и скоро получу право на покой и на отдых. Каждый когда-нибудь подходит к концу, милый Луи, и я в том числе, и ты. Бог знает, что я пишу тебе, видно, я не совсем здоров. Это, конечно, ипохондрия, у меня часто болят глаза, и иногда меня преследует воспоминание об одной

статье об отслоении сетчатки, которую я прочел много лет назад.

Когда я гляжу вниз через мою знакомую тебе балконную дверь, мне становится ясно, что нам надо еще поработать! Мир несказанно прекрасен и разнообразен, через эту зеленую высокую дверь он день и ночь взывает ко мне своим звоном, кричит, требует, и я снова и снова выбегаю и ухватываю кусочек его, крошечный кусочек. Благодаря сухому лету здешние зеленые окрестности стали теперь удивительно яркими и рыжими, никак не думал, что снова возьмусь за красную охру и сиенскую землю. И впереди еще вся осень, жнивье, сбор винограда, уборка кукурузы, красные леса. Я во всем этом буду еще раз участвовать изо дня в день, напишу еще несколько сот этюдов. Но потом, я это чувствую, я пойду внутрь и снова, как делал это одно время молокососом, буду писать целиком по памяти и воображению, буду сочинять стихи и предаваться мечтам. Нужно и это.

Один большой парижский художник сказал молодому живописцу, попросившему у него совета: «Молодой человек, если вы хотите стать художником, то не забывайте, что прежде всего нужно хорошо есть. Во-вторых, очень важно пищеварение, заботьтесь о регулярности стула!

И в-третьих: всегда имейте красивую подружку!» Да, этим азам искусства я, надо полагать, научился, и тут у меня никаких загвоздок вроде бы нет. Но в этом году, черт возьми, у меня и в этих простых вещах нет порядка. Ем я мало и плохо, часто целыми днями только хлеб, порой я вожусь с желудком (скажу тебе: это самая пустая на свете возня!), и нет у меня настоящей подруги, я имею дело с четырьмя-пятью женщинами и одинаково часто бываю утомлен и голоден. Что-то разладилось в часовом механизме, и после того как я ковырнул его спицей, он хоть и заработал, но спешит как оголтелый и при этом ужасно тарахтит. Как проста жизнь, когда ты здоров! Ты еще не получал от меня таких длинных писем, разве что в те времена, когда мы спорили о палитре. Кончаю, скоро пять часов, начинается этот прекрасный свет. Тебе шлет привет твой

Клингзор.

Постскриптум:

Помню, что тебе понравилась одна моя маленькая картина, наиболее китайская из всех мною написанных, с хижиной, красной дорогой, зубчатыми деревьями «веронезе» и далеким игрушечным городом на заднем плане. Не могу послать ее сейчас, да и не знаю, где ты. Но она

твоя, хочу на всякий случай сказать тебе это.

Клингзор посылает стихи своему другу Ту Фу

(В те дни, когда он писал автопортрет)

Ночью в роще сижу на ветру, захмелев,
Осень с веток поющих сняла покров,
И за новой бутылкой
Для меня трактирщик спешит в подвал.

Завтра, завтра в красную плоть мою
Всадит звонкую косу мой бледный враг.
Знаю, смерть притаилась,
Настороженных не сводит глаз.

Ей назло я ночь напролет пою,
Пьяные звуки бросаю в усталый лес,
Чтоб над ней поглумиться,
Тяну я песню и чашу пью до дна.

Много выпало дел мне, много
досталось бед.
Вот и вечер пришел. Я пью
и со страхом жду,

Что сверкнет, отсекая
Голову мне от дрожащего тела, серп.

Автопортрет

В первых числах сентября, после многих недель необыкновенно сухого зноя, выдалось несколько дождливых дней. В эти дни Клингзор писал в высокооконном зале своего палаццо в Кастаньетте автопортрет, который висит сейчас во Франкфурте.

Эта ужасная и в то же время волшебно прекрасная картина, его последнее вполне законченное произведение, заключает работу того лета, заключает некий удивительно пылкий и бурный период работы как его венец и вершина. Многие замечали, что каждый, кто знал Клингзора, сразу и безошибочно узнавал его на этом портрете, хотя не было картины, более далекой от всякого натуралистического сходства, чем эта.

Как все поздние произведения Клингзора, этот автопортрет можно рассматривать с самых разных точек зрения. Для многих, особенно для тех, кто не знал художника, эта картина прежде всего концерт красок, поразительного тона ковер, спокойный и благородный при всей пестроте. Другие

видят тут последнюю смелую, даже отчаянную попытку освобождения от материальности (лицо, написанное как пейзаж, волосы, смахивающие на листву и кору деревьев, глазницы как расселины в скалах), они говорят, что эта картина напоминает натуру не более чем иной силуэт горы — человеческое лицо, иная ветка — руку или ногу, то есть лишь отдаленно, лишь символически. А многие, напротив, видят именно в этом произведении только предмет, лицо Клингзора, разобранное и истолкованное им самим с неумолимым психологизмом, великое откровение, беспощадную, кричащую, трогательную, страшную исповедь. Другие опять-таки, среди них некоторые ожесточеннейшие его противники, видят в этом портрете только результат и свидетельство клингзоровского, по их мнению, безумия. Натуралистически сравнивая голову на портрете с оригиналом, с фотографиями, они находят в искаженных, утрированных формах дикарские, дегенеративные, атавистические черты. Многие из них нападают на неподвижность и фантастичность этой картины, усматривая в них какую-то отдающую мономанией самовлюбленность, какое-то кощунство и самолюбование, какую-то религиозную манию величия. Все эти

точки зрения возможны, как и еще много других.

В те дни, когда он писал эту картину, Клингзор не выходил из дому, кроме как по ночам, чтобы выпить вина, ел только хлеб и фрукты, которые ему приносила хозяйка, не брился и при ввалившихся под черным от загара лбом глазах выглядел в этой запущенности действительно ужасающе. Писал он сидя и по памяти, лишь изредка, почти только во время перерывов в работе, он подходил к большому, старомодному, в розанах, зеркалу на северной стене, вытягивал шею, таращил глаза, гримасничал.

Много, много ликов видел он за лицом Клингзора в большом зеркале между глупыми розанами: детские лица, милые и удивленные виски юноши, полные мечтательности и пыла, насмешливые глаза пьяницы, губы жаждущего, преследуемого, страдающего, ищущего, распутника, enfant perdu[22]. Но голову он сделал величественной и жестокой, идола в дремучем лесу, влюбленного в себя, ревнивого Иегову, истукана, перед которым приносят в жертву первенцев и девственниц. Это были некоторые из его лиц. Другое лицо было ли-

---

[22] notes: 22
часового на передовом посту, обреченного на гибель *(фр.)*.

цо пропадающего, гибнущего, согласного со своей гибелью, обросший мхом череп, кривые старые зубы, трещины в дряблой коже, и в трещинах парша и плесень. Некоторые друзья любят в его картине именно это. Они говорят: это — человек, ecce homo[23], усталый, жадный, дикий, инфантильный и изощренный человек нашей поздней эпохи, умирающий, желающий умереть европейский человек — утонченный всеми порывами, больной от всех пороков, воодушевленный знанием своей гибели, готовый ко всякому прогрессу, созревший для всякого регресса, весь — огонь, но и весь — усталость, покорный судьбе и боли, как морфинист яду, одинокий, опустошенный, древний, Фауст и Карамазов одновременно, зверь и мудрец, совершенно обнаженный, совершенно без честолюбия, совершенно голый, полный детского страха перед смертью и полный усталой готовности умереть.

А еще дальше, еще глубже за всеми этими ликами спали более далекие, более глубокие, более старые лики, дочеловеческие, животные, растительные, каменные, словно за миг до смерти последний человек на земле еще раз быстро, как

[23] notes: 23
се человек, букв. «это человек» *(лат.)*.

во сне, вспоминал все облики своей древности и своей молодости в мире.

В эти неистово напряженные дни Клингзор жил как в экстазе. Ночью он тяжело нагружался вином и, стоя со свечой в руке перед старым зеркалом, рассматривал лицо в стекле, уныло ухмыляющееся лицо пьяницы. В один из вечеров с ним была любовница, на диване в мастерской, и, прижав ее, голую, к себе, он глядел через ее плечо в зеркало, видел рядом с ее растрепанными волосами свое искаженное лицо, полное похоти и полное отвращения к похоти, с покрасневшими глазами. Он пригласил ее прийти завтра снова, но ее объял ужас, она больше не приходила.

Ночью он спал мало. Он часто просыпался после страшных снов с лицом в поту, одичалый, уставший от жизни, но сразу же вскакивал, глядел в зеркало шкафа, смотрел на хаотический пейзаж этих смятенных черт, мрачно, с ненавистью или улыбаясь, как бы злорадствуя. Однажды ему приснилось, что его пытают, вбивают гвозди в глаза, разрывают крюками ноздри, и он нарисовал это казнимое лицо с гвоздями в глазах углем на обложке лежавшей под рукой книги; мы нашли этот странный рисунок после его смерти. В приступе поразившей лицо невралгии он при-

валился, скрючившись, к спинке стула, смеялся и кричал от боли, держа перед зеркалом обезображенное лицо, разглядывал, как оно дергается, глумился над слезами.

И не только свое лицо или тысячу своих лиц написал он на этом портрете, не только свои глаза и губы, скорбное ущелье рта, расщепленную скалу лба, свилеватые руки, дрожащие пальцы, сарказм ума, смерть в глазах. Своенравным, перегруженным, убористым и дрожащим почерком своей кисти он написал еще свою жизнь, свою любовь, свою веру, свое отчаяние. Стаи голых женщин написал он тоже, унесшихся, как птицы, закланных перед идолом Клингзором, написал и юношу с лицом самоубийцы, и далекие храмы и леса, и старого бородатого бога, могучего и глупого, и рассеченную кинжалом женскую грудь, и бабочек с лицами на крыльях, и на самом заднем плане, на краю хаоса — смерть, серый призрак, вонзивший в мозг написанного Клингзора маленькое, как иголка, копье.

После того как он часами писал, в него вдруг вселялось беспокойство, он метался по комнатам, распахивал двери, выхватывал бутылки из шкафа, хватал книги с полок, срывал скатерти со столов, лежал, читая, на полу, высовывался,

жадно дыша, в окна, искал старые рисунки и фотографии, заваливал полы и столы, кровати и стулья во всех комнатах бумагами, картинами, книгами, письмами. Все смешивалось в печальной неразберихе, когда в окна залетал ветер с дождем. Среди старых вещей он нашел свой детский портрет, фотографию, сделанную, когда ему шел четвертый год, он был на ней в белом летнем костюмчике, из-под белесых волос глядело мило-упрямое мальчишеское лицо. Он нашел портреты своих родителей, фотографии возлюбленных юных лет. Все занимало, раздражало, волновало, мучило его, тянуло то туда, то сюда, он все хватал, снова бросал, наконец убегал к своей деревянной доске и писал снова. Глубже бороздил ущелья своего портрета, шире возводил храм своей жизни, мощнее выражал вечность каждого существования, надрывнее его бренность, прелестнее его улыбающуюся символичность, насмешливее его обреченность истлеть. Потом он опять вскакивал, затравленный олень, и, как узник, метался по комнатам. Радость и глубокое блаженство творчества пронизывали его, как влажная ликующая гроза, пока боль опять не бросала его наземь и не швыряла ему в лицо черепки его жизни и его искусства. Он молился перед сво-

ей картиной и оплевывал ее. Он был безумен, как безумен всякий творец. Но в безумии творчества он безошибочно умно, как лунатик, делал все, чего требовало его творение. Он чувствовал и верил, что в этой жестокой битве за его портрет вершится не только судьба и отчет отдельного человека, но и нечто всечеловеческое, общее, необходимое. Он чувствовал: теперь он снова стоит перед какой-то задачей, перед какой-то судьбой, а весь предшествующий страх, все попытки бегства, весь хмель, весь угар были лишь страхом перед этой его задачей и бегством от нее. А теперь кончился страх, кончилось бегство, теперь оставалось только «вперед», оставалось только рубить и колоть, победить и погибнуть. Он побеждал, и он погибал, и страдал, и смеялся, и пробивал себе путь, убивал и умирал, рождал и рождался.

Один французский художник пожелал посетить его, хозяйка провела гостя в загроможденную вещами переднюю, где ухмылялись беспорядок и грязь. Клингзор вышел, краска на рукавах, краска на лице, серый, небритый, широкими шагами пролетел через переднюю. Чужестранец привез приветы из Парижа и Женевы, выразил свое уважение. Клингзор ходил взад и вперед,

казалось, не слыша. Гость смущенно умолк, стал откланиваться, тогда Клингзор подошел к нему, положил на плечо запачканную краской руку, пристально посмотрел в глаза.

— Спасибо, — сказал он медленно, с трудом, — спасибо, дорогой друг. Я работаю, я не могу говорить. Слишком много говорят, всегда. Не сердитесь, передайте привет моим друзьям, скажите им, что я их люблю.

И скрылся в соседней комнате.

Готовую картину он поставил в конце этих неистовых дней в голой, пустовавшей кухне и запер. Он никому не показал ее. Затем он принял веронал и проспал сутки. Затем вымылся, побрился, сменил белье и одежду, поехал в город и купил фруктов и папирос, чтобы подарить их Джине.